

Сканирование и форматирование: Pierre Martinkus martin2@hotmail.ru
[Янко Слава](mailto:Янко_Слава) (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru ||
yanko_slava@yahoo.com || <http://yanko.lib.ru> || Icq# 75088656 || Библиотека:
<http://yanko.lib.ru/gum.html> ||
update 07.10.05

Жак Ле Гофф Интеллектуалы в средние века



Жак Ле Гофф Интеллектуалы в средние века



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2003



ББК 63.3(0)-7 Г74

Издательство благодарит Научную библиотеку имени М. Горького С.-Петербургского государственного университета за помощь в подборе иллюстративного материала

© 1957 by Editions du Seuil

© А. М. Руткевич, перевод, 2003

© Издательство С.-Петербургского университета, 2003

ISBN 5-288-03334-X

Введение	5
План Парижа, Munster	8
XII век Рождение интеллектуалов	9
Возрождение городов и рождение интеллектуала в XII веке	9
Каролингское возрождение — было ли оно?	11
Современность XII века. Древние и новые	13
Вклад греков и арабов	16
Переводчики	17
Роза ветров, Aristote	19
Симон, аббат монастыря Св. Альбина (1167-1183) у книжного сундука	19
Париж: Вавилон или Иерусалим?	22
Голиарды	24
Интеллектуальное бродяжничество	25
Имморализм	27
Критика общества	28
Абеляр	33
Элоиза	35
Женщина и брак в XII веке	37
Новые бои	39
Бернард Клервоский и Абеляр	40
Логик	42
Моралист	42
Гуманист	43
Шартр и шартрский дух	44
Шартрский натурализм	46
Шартрский гуманизм	47
Василиск — одно из символических отображений зла	49
Человек-микрокосм	50
Фабрика и homo faber	51
Фигуры	53
Влияние	54
Интеллектуал-работник и городская стройка	54
Исследование и обучение	56
Орудия	57
Камень Мира, Болонья	58
XIII век. Зрелость и ее проблемы	58
Очертания XIII века	58
Против церковных властей	60
Против светских властей	62
Поддержка папства	63
и переход под его юрисдикцию	63
Внутренние противоречия университетской корпорации	65
Сорбонна и ее окрестности (план Бале)	66
Организация университетской корпорации	67
Организация учебы	70
Программы	71
Экзамены	72
Император Юстиниан. Свод гражданского права с толкованием Аккурсия	73
Моральный и религиозный климат	75
Университетское благочестие	76
Инструментарий	78
Комната студента	78
Книга как инструмент	79
Пьеса одного из экземпляров «Codex», Болонья. XIII век	81
Клише, XV век	82
Метод: схоластика	85
Словарь	85
Диалектика	85
Авторитет	86
Разум: теология как наука	86
Упражнения: quaestio, disputatio, quodlibet	87
Противоречия: как жить? Плата или бенефиций?	91
Спор черного и белого духовенства	95

Противоречия схоластики: опасность подражания древним	101
Соблазны натурализма	102
Трудное равновесие веры и разума: аристотелизм и аверроизм	104
Писарь, астроном, счетовод	107
Отношения между разумом и опытом	109
Отношения между теорией и практикой	110
В аудитории, миниатюра. Болонья, XV век	114
От университетского преподавателя к гуманисту	114
Закат средневековья	114
Эволюция доходов	116
Св. Джером за работой, XV век	118
К наследственной аристократии	119
Коллежи и аристократизация университетов	123
Эмблемы Испанского и Фламандского колледжей, Болонья	124
Эволюция схоластики	125
Раскол между разумом и верой	126
Границы экспериментальной науки	128
Земной шар по Птолемею	128
Антиинтеллектуализм	129
Национализация университетов: новая университетская география	132
Университетские мэтры и политика	135
Первый национальный университет: Прага	137
Прага, Munster	138
Париж: величие и слабость университетской политики	139
Склероз схоластики	141
Университеты открываются гуманизму	143
Интерьер библиотеки Сикста IV. Фреска в больнице Св. Духа, Рим	145
Возврат к поэзии и мистике	146
Св. Джером. Дюрер	147
Вокруг Аристотеля: возвращение к прекрасному слогу	148
Гуманист-аристократ	149
Эразм Роттердамский. Дюрер	150
Профессор, обращающийся к аудитории	151
В библиотеке	153
Возвращение за город	155
Разрыв между наукой и преподаванием	156
Хронологические ориентиры	158
Содержание	162

Введение

К концу средневековья пляска смерти охватила различные сословия мира сего — то есть различные социальные группы — и влекла их в небытие, в коем находило удовлетворение мироощущение эпохи упадка. Наряду с королями, дворянами, церковниками, буржуа, выходцами из народа в это действо часто была вовлечена фигура клирика, который далеко не всегда равнозначен монаху или священнику. Этот клирик происходил из рода интеллектуалов, берущего начало в западном средневековье. Почему мы избрали имя интеллектуала для названия нашей небольшой книги? Оно не является результатом произвольного выбора. Среди множества определений: люди науки, ученые, клирики, мыслители (терминология, относящаяся к миру мысли, никогда не отличалась определенностью) — слово «интеллектуал» обозначало область с хорошо очерченными границами. Речь идет о школьных учителях, мэтрах. Впервые оно произносится в эпоху

раннего средневековья, затем получает распространение в городских школах XII века, а в XIII веке переходит в университеты. Так именуют тех, чьим ремеслом были мышление и преподавание своих мыслей. Этот союз личного размышления и передачи его путем обучения характеризовал интеллектуала. Пожалуй, вплоть до нынешней эпохи эта среда никогда не имела столь четких очертаний и такого сознания собственной значимости, как в Средние века. Из-за двусмысленности термина *clerc* (клирик, клерк) в Средние века искали другое имя и вслед за Сигером Брабантским окрестили эту фигуру *philosophus*. Я сознательно избегал его, поскольку философ для нас — совсем иной персонаж. Это слово было позаимствовано у античности. Во времена Фомы Аквинского и Сигера философом (по преимуществу, Философом с большой буквы) был Аристотель. Но в Средние века таковым был христианский философ. В нем находил свое выражение идеал школ с XII по XV век — идеал христианского гуманизма. Однако гуманист для нас опять-таки означает другой тип ученого, а именно: ученого Возрождения XV-XVI веков, который как раз противопоставлялся средневековому интеллектуалу.

Иными словами, за пределами этого очерка, которому я бы дал подзаголовок «Введение в историческую социологию западных интеллектуалов», не будь он столь амбициозным и не будь при этом риска злоупотребить изрядно затертыми на сегодняшний день терминами, — останутся замечательные представители богатой средневековой мысли. Ни мистики, уединенные в своих кельях, ни поэты или составители хроник, удалившиеся от мира школы и погруженные в иную среду, не появятся здесь, а если речь о них и пойдет, то лишь эпизодически, чтобы указать на их отличие. Даже гигантский силуэт Данте, истинного властителя средневековой мысли, отбросит здесь лишь слабую тень. Если он и посещал университет (а в самом ли деле он бывал в Париже, в Соломенном проулке?), если его произведения и стали в Италии конца XIV века текстами, требующими ученого толкования, если фигура Сигера и возникает в его «Раю», в казавшихся странными стихах, то по темному лесу он все же следовал за Вергилием, шел иными путями, отличными от тех, что были проложены толпами наших интеллектуалов. Рютбёф, Жан де Мен, Чосер, Вийон будут упоминаться мною лишь потому, что на них наложило свой отпечаток пребывание в школе.

Поэтому речь в книге пойдет только об одном аспекте средневековой мысли, только об одном типе ученых. Я не игнорирую ни наличия, ни важности других духовных семейств, других духовных учителей. Но меня привлекла фигура интеллектуала, имеющего свою собственную историю. Она кажется мне весьма примечательной и значимой для истории западной мысли, будучи к тому же четко определенной социологически. Но было бы ошибкой говорить о ней в единственном числе, когда мы находим такое многообразие интеллектуалов (надеюсь, страницы этой книги отразят его). От Абельяра до Оккама, от Альберта Великого до Жана Жерсона, от Сигера Брабантского до Виссариона — сколько темпераментов, характеров, различных и противоположных интересов!

Ученый и профессор, мыслитель по профессии, интеллектуал может определяться и некоторыми психологическими чертами, способными вклиниваться в мир духа, становиться некими складками характера, способными затвердевать, делаться привычками, даже маниями. В силу своей рассудительности интеллектуал рискует впасть в рассудочность. Своей наукой он все иссушает. Разве не разрушает он своей критикой, не дискредитирует своей системой? В сегодняшнем мире предостаточно разоблачителей интеллектуала, делающих из него козла отпущения. Если Средние века и высмеивали закосневших схоластов, то к интеллектуалу они не были так несправедливы. Они не возлагали на университетских преподавателей вину за потерю Иерусалима, а на студентов Сорбонны — за поражение при Азинкуре. Средневековье умело видеть в разуме страстное стремление к справедливости, в науке — жажду истины, в критике — поиск лучшего. Недоброжелателям интеллектуала через века отвечает Данте, поместивший в рай и примиривший в нем трех крупнейших интеллектуалов XIII века: св. Фому, св. Бонавентуру и Сигера Брабантского.



План Парижа, Munster

*i quorundam edificiorum,
quibus locis ob specij an-
gustia ne quierunt.
ons. 5 Palatium
c Praetorium.
mum templum.
ad Picardiam.
a & via S. Dionisij.
a & via S. Martini.*



ХII век

Рождение интеллектуалов

Возрождение городов и рождение интеллектуала в XII веке

Вначале были города. Интеллектуал средневековья на Западе рождается вместе с ними. Он появляется вместе с их расцветом, связанным с развитием торговли, промышленности (скажем скромнее — ремесел), как один из тех мастеров, которые водворились в них под влиянием разделения труда.

Ранее действительной специализации людей отвечало разве что подразделение социальных классов, предложенное Адальбероном Ланским: те, кто молится, — клирики; те, кто защищает, — дворяне; те, кто работает, — крестьяне. Обрабатывающий землю серв был одновременно и ремесленником. Благородный воин был в одно и то же время собственником, судьей, управляющим. Клирики — прежде всего, монахи — нередко исполняли сразу все эти обязанности. Духовная работа была лишь одной из сфер их деятельности. Она не была самоцелью, но подчинялась общему порядку их жизни, отданной Богу. Живя в монастырях, они могли по случаю становиться преподавателями, учеными, писателями. Но это было чем-то преходящим, вторичным для личности монаха. Даже те из них, в ком угадывались интеллектуалы грядущих столетий, еще не были таковыми. Алкуин представ-

лял собой, прежде всего, высокопоставленного чиновника, министра культуры при Карле Великом. Луп из Ферье — прежде всего аббат, пусть интересующийся книгами и охотно ссылающийся на Цицерона в своих письмах.

Человек, чьим ремеслом станут писательство и преподавание (скорее и то, и другое одновременно), человек, который профессионально займется деятельностью преподавателя и ученого, короче говоря, интеллеktуал, появится только вместе с городами.

Его появление станет ощутимым лишь в XII веке. Конечно, средневековые города не выросли на Западе вдруг, как грибы. Историки обнаруживают их уже вполне готовыми в XI, в X веках, и чуть ли не каждый номер специализированного журнала сообщает нам о новом, все более отдаленном по времени возрождении городов.

Разумеется, города всегда были на Западе, но «останки» римских городов времен Поздней империи прикрывали своими стенами горстку жителей и окружали военного, административного или религиозного правителя. Таковы, прежде всего, города, где размещались епископства, — в них жило незначительное число мирян, меньшее, чем священников, и не было иной экономической жизни, кроме небольшого местного рынка, служащего удовлетворению повседневных нужд.

Видимо, под воздействием мусульманского мира, который требовал поставок товаров для огромного городского населения Дамаска, Фустата, Туниса, Багдада, Кордовы с варварского Запада, — леса, мехов, мечей, рабов — стали появляться эмбрионы городов, «порты». Они были либо самостоятельны, либо прилеплялись к епископальным центрам и военным «бургам» X века (быть может, даже IX века). Но этот феномен в полной мере заявит о себе только в XII веке и тогда основательно изменит экономическую и социальную структуру Запада, а движение коммун потрясет политические структуры.

К этим революциям добавится еще одна — культурная. А к рождениям и возрождениям присоединится еще одно — возрождение интеллектуальное. Очерк истории его главных участников и перевоплощений их преемников — вплоть до конца того, что называется средневековьем, вплоть до другого возрождения — и будет темой нашей небольшой книги.

Каролингское возрождение — было ли оно?

Если трудно признать подлинным и законченным возрождение городов до XII века, то разве можно пройти мимо тех перемен в области культуры конца VIII — первой половины IX века, которые традиционно именуется Каролингским возрождением?

Не отрицая последнего, не говоря, подобно иным историкам, о *так называемом возрождении*, мы хотели бы уточнить его границы.

Для «Возрождения» у него отсутствуют те количественные показатели, которые предполагаются самим этим понятием. Да, повысился уровень культуры детей аристократов, учеников дворцовой школы, тех из клириков, кто обучался в немногих крупнейших монастырских и епископальных центрах. Но одновременно Каролингское возрождение практически положило конец остаткам начального образования, которое меровингские монастыри распространяли среди детей из окрестных деревень. Во время великой реформы бенедиктинского ордена 817 года, на которую императора Людовика Благочестивого вдохновил св. Бенедикт Анианский и которая заключалась в замыкании на себе самом первоначального бенедиктинского монашества, «внешние» школы монастырей были закрыты. Клерикальная Каролингская монархия в период ренессанса словно в небольшом питомнике выращивала чиновников и политиков для замкнутой, крайне малочисленной элиты. Республиканские учебники французской истории заблуждаются в своих восхвалениях Карла Великого (кстати, неграмотного), делая из него покровителя школ и предшественника Жюль Ферри.

Кроме такого подбора кадров для монархии и церкви, интеллектуальное движение Каролингской эпохи не проявляло ни апостольского рвения, ни бескорыстия в своих делах и помыслах.

Прекрасные манускрипты эпохи были предметами роскоши. Время, уходившее на переписку, на совершенство письма (каллиграфия еще более, чем какография, — признак эпохи бескультурия с чрезвычайно малым спросом на книги), на украшение их со всем возможным великолепием для дворца, для нескольких светских или церковных магнатов, говорит о минимальной скорости оборота книг в те времена.

Более того, эти книги создаются не для того, чтобы их читали. Они осядут в сокровищницах церквей или богатых частных лиц. Это прежде всего экономические, а не духовные ценности. Пусть иные из авторов, копирующие фразы древних писателей или отцов церкви, утверждают превосходство духовного содержания книги. Им верят на слово, что только помогает увеличить материальную цену книг. Карл Великий распродал часть своих прекрасных рукописей, чтобы раздать милостыню. Книги рассматриваются в качестве дорогой посуды.

Монахи, трудолюбиво их переписывающие в *scriptoria* своих монастырей, лишь в малой степени интересуются их содержанием. Для них важнее потраченные усилия, время, усталость от переписки. Ведь это — епитимья, обеспечивающая им небесное блаженство. Кроме того, в соответствии с тогдашним пристрастием к установленным оценкам добрых дел и прегрешений, позаимствованным из судопроизводства варваров церковью раннего средневековья, монахи измеряли числом страниц, строк, букв выкупленные годы пребывания в чистилище либо, наоборот, сетовали на то, что пропущенная по недосмотру буква увеличит им срок этого пребывания. Своим наследникам они передали имя чертенка, известного тем, что он дразнил переписчиков, — *Titivillus* (впоследствии его вновь отыскал Анатолий Франс).

Наука для этих христиан, в которых дремал варвар, была сокровищем. Его следовало всячески охранять. Замкнутая культура существовала вместе с закрытой экономикой. Каролингское возрождение не сеяло, а копило. Но возможно ли скупое возрождение?

Лишь по невольной щедрости Каролингская эпоха может несмотря ни на что сохранить за собой этот титул. Конечно, самый оригинальный и самый сильный мыслитель эпохи Иоанн Скотт Эриугена жил, не имея слушателей, — его признали, поняли, стали использовать его труды только в XII веке. Но переписанные в каролингских *scriptoria* рукописи, концепция семи свободных искусств, перенятая Алкуином у ритора V века Марциана Капеллы, выдвинутая им же идея *translatio studii, moeсть* передачи знаний Западу, прежде всего Галлии, из Афин и Рима как очагов цивилизации, — все эти накопленные сокровища будут пущены в оборот, брошены в горнило городских школ, переплавятся в нем и войдут в возрождение XII века в качестве последних свидетельств античности.

Современность XII века. Древние и новые

Совершать нечто новое, стать новыми людьми — так воспринимали себя интеллектуалы XII столетия. Может ли существовать Ренессанс без чувства возрождения? Вспомним о возродившихся в XVI веке, о Рабле.

Из их уст, из-под их пера для обозначения современных им авторов часто выходит слово *moderni*. Они были новыми, современными и умели ими быть. Но такими новыми, которые не оспаривали древних; напротив, они подражали им, питались ими, взгромождались им на плечи. *От тьмы невежества к свету науки не поднимешься, коли не перечтешь с живейшей любовью труды древних,* — пишет Пьер де Блуа. — *Пусть лают собаки, пусть свиньи хрюкают! Я не стану от сего меньшим сторонником древних. О них все мои помыслы, и заря всякого дня найдет меня за их изучением.*

Вот как учил в Шартре, одном из знаменитейших школьных центров XII века, мэтр Бернард, по свидетельству своего именитого ученика Иоанна Солсберийского: *Чем больше ты знаком с науками и чем больше ими проникся, тем полнее поймешь правоту древних авторов и тем яснее станешь их преподавать. Эти последние, благодаря diacrisis, что мы можем перевести как рисунок или окраска, из первоистории истории, темы, сказания, с помощью всех дисциплин и великого искусства синтеза и сочетания создавали законченное произведение как прообраз всех искусств. Грамматика и Поэзия тесно сплетаются и покрывают все пространство изображаемого. На это поле Логика, дающая нам цвета демонстрации, приносит блеск золота разумных доказательств; Риторика силой убедительности и красноречия подобна сиянию серебра. Квадрига Математики движется по следам других искусств и оставляет бесконечное разнообразие цветов и оттенков. Изучив тайны природы, Физика вносит очарование своих нюансов. Наконец, возвышающаяся над прочими ветвями Этическая Философия, без которой и сама философия не получила бы своего имени, превосходит все прочие тем достоинством, которое она придает произведению. Прочти внимательно Вергилия или Лукана и, какую бы философию ты ни исповедовал, найдешь то, что тебе пригодится. В этом, в зависимости от умения*



est no
 7 am
 7 cam
 7 uo icc
 7 Thar
 7 edant
 7 in lon
 7 laus
 7 nem.
 7 Ca
 7 8. Eng
 7 anort
 7 omite
 7 riuus.
 7 gla: id

viruq; ca. Cooperat it enida p^o ade
 udine ad bucolica diuinit. C. Reges
 la. g. Cynthius. A. dicit Appollo
 i sublimis et asp. Delo moei inuinita
 geo sita: vrbē habet in plano possit:
 ū atq; latens. qur ibi Dianā simul &
 strabo li. x. scripsit. Per Cynthiū vero
 ū, dicit em octaua egloga. A te princ

Cum canerem reges & prelia: cynthius aure
Vellit; et admonuit pastore tityre pingues:
pascere oport; oues; deduci dicere carne:
Nūc ego (nāq; sup tibi erūt: q; dicere laudes
Vare tuas cupiant: & tristia condere bella)

rem. 8. quē mem
 crata est: vt from
 get Mincrup. Ge
 nicordig. Vē
 ut vt postēsc; a
 lit. A. Aure velle
 citantiū tubentū
 ad res agendas re
 dafcp. k. D
 senue. trāstatio al
 ducitur in ecumie
 ducum reure sig
 subile sed Maci
 Sat. Hinc ait Aſt
 ce deducta. Pomj

voe; deducas oportet vt mulieris videtur veri
 ductū catenatū quale pro humilitate maner
 esse ducunt: que humilis est. & nō grande quā
 pagia regū. I Nunc ego. S. Ordo est. Nunc
 labor agrestem inuisum tenui amittine. L. carne
 forib; m Superūt. S. supabū dabit; qui at
 facta describere. Hic varus germanea victra:
 nā & pecuniā fuerat grandē consecutus. over d

учителя и рвения ученика, заключается польза от предварительного чтения древних авторов. Таков метод, коему следовал Бернард Шартрский, чьи сочинения — богатейший источник изящной словесности в Галлии новых времен...

Но не является ли такое подражание рабским? В дальнейшем мы увидим, что многие античные привнесения в западную культуру были и плохо переварены, и худо приспособлены. Но в XII веке все это было так ново!

Если мэтры, клирики и добрые христиане предпочитают в качестве *text-book* Вергилия Экклезиасту, Платона Августину, то делают это не только из убежденности в том, что Вергилий и Платон богаты моральными поучениями и что за кожурой сокрыта сердцевина (разве поучений мало в Писании и у отцов церкви?). Делается это потому, что «Энеида» и «Тимей» для них — прежде всего, научные труды: они написаны учеными и пригодны в качестве предметов специального, технического образования, тогда как Писание и труды отцов церкви, которые тоже полны учености (разве книга Бытия не образец для естественных наук и космологии?), играют эту роль лишь во вторую очередь. Древние — это специалисты, которые лучше приспособлены для специального обучения, а именно, для свободных искусств, школьных дисциплин, нежели труды Отцов или Писание, принадлежащие по преимуществу области теологии. Интеллектуал XII века был профессионалом: у него свои, полученные от древних, предметы, своя техника, которая в главном также есть подражание древним.

Но используется она для того, чтобы идти дальше древних, подобно итальянским кораблям, использующим море, чтобы плыть за богатствами Востока.

Таков смысл известного изречения Бернарда Шартрского, которое часто повторялось в Средние века:

Мы — карлики, взобравшиеся на плечи гигантов. Мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что взгляд у нас острее и сами мы выше, но потому, что они подняли нас вверх и воздвигли на свою гигантскую высоту...

Значимость культурного прогресса — вот что выражает этот знаменитый образ. Иными словами, значимость прогресса в истории. В раннем средневековье история остановилась. Церковь победила и реализовала себя на Западе. Оттон Фрейзинген-

ский, перенявший августирианское учение о двух Градах, заявил: *Начиная с того момента, как даже императоры, за малыми исключениями, а не только все прочие, стали католиками, мне кажется, что я писал уже историю не двух Градов, но одного, и имя ему — Церковь.*

Не раз говорилось о воле к забвению времени у феодалов, а вместе с ними и у монахов, включенных в феодальные структуры. Дойдя до политической победы буржуазии, Гизо был уверен, что тем самым он достиг цели истории. Интеллектуалы XII века, появившиеся в строившихся городах, где все двигалось и менялось, вновь запустили машину истории и первым делом определили свою миссию во времени: *Veritas, filia temporis* — сказано уже Бернардом Шартрским.

Вклад греков и арабов

Дочь времени, истина, также и дочь географического пространства. Города — это места вращения людей, нагруженных идеями словно товарами, места обмена, рынков и перекрестков интеллектуальной торговли. В XII веке, когда Запад экспортировал в основном сырье, хотя уже приближался расцвет торговли тканями, редкие и дорогие предметы ремесла приходили с Востока — из Византии, Дамаска, Багдада, Кордовы. Вместе с пряностями и шелком на христианский Запад пришли рукописи, несущие греко-арабскую культуру.

Арабская культура была, прежде всего, посредницей. Труды Аристотеля, Эвклида, Птолемея, Гиппократы, Галена сохраняли на Востоке христиане-еретики — монофизиты, несториане — и преследуемые в Византии евреи. От них эти сочинения перешли в библиотеки мусульманских школ и были там хорошо приняты. И вот теперь началось обратное движение, которое принесло их к берегам западного христианства. При этом роль узкой полосы латинских государств на Востоке была невелика. Этот фронт встречи между Западом и Исламом был, прежде всего, военным: столкновения, крестовые походы. Здесь обменивались ударами, а не идеями и книгами. Через эту полосу военных действий проникли немногие сочинения. Двумя главными зонами контакта, передачи восточных рукописей были Италия и еще более



Испания. Ни временные закрепления мусульман на Сицилии и в Калабрии, ни волны христианской Реконкисты никогда не препятствовали в этих местах мирному обмену.

Христианские охотники за греческими и арабскими манускриптами добирались даже до Палермо, где норманнские короли Сицилии, а затем Фридрих II со своей трехязычной канцелярией — греческой, латинской, арабской — основали первый итальянский двор в стиле Ренессанса. Добирались они и до Толедо, отвоеванного у неверных в 1087 году, в котором под покровительством архиепископа Раймонда (1125-1151) трудились христианские переводчики.

Переводчики

Первопроходцами этого Ренессанса были переводчики. Запад уже не знал греческого: Абельяр оплакивал это и увещевал священников восполнить пробел, вводя тем самым людей в сферу культуры. Научным языком была латынь. Арабские оригиналы, арабские версии греческих текстов, греческие оригиналы — их нужно было переводить, либо в одиночку, либо — и чаще всего — группами переводчиков. Христианам Запада помогали испанские

христиане, жившие под властью мусульман (мозарабов), евреи и даже сами мусульмане. Тем самым происходило объединение всех способностей и навыков. Известность получила одна из таких команд, собранная ученым аббатом Ключийским, Петром Достопочтенным, для перевода Корана. Он отправился в Испанию для инспекции ключийских монастырей, возникавших вместе с продвижением Реконкисты. Петру Достопочтенному первому пришла на ум мысль о том, что с мусульманами нужно сражаться не только в военной, но и в интеллектуальной области. Чтобы опровергнуть их учение, его следует знать. Нам эта мысль кажется до наивности очевидной, но она требовала необычайной смелости в эпоху крестовых походов.

Дают ли мусульманскому заблуждению презренное имя ереси или бесчестное имя язычества, против него нужно действовать, а это значит, что против него нужно писать. Но латиняне, в особенности же нынешние, утратили древнюю культуру и, подобно иудеям, изумлявшимся знанию множества языков апостолами, не владеют иным, кроме языка своей родной земли. Потому они и не могли ни распознать чудовищности этого заблуждения, ни преградить ему путь. Оттого воспламенилось мое сердце, и огонь зажег мои мысли. Видя, как латиняне упускают из виду причину этой гибели, я вознегодовал и решил предоставить их невежеству силу к сопротивлению этой гибели: Ибо никто не мог ответить, ибо никто не знал. Посему я стал искать знатоков арабского языка, позволившего этому смертельному яду заразить половину шара земного. Силою молитвы и денег убеждал я их перевести с арабского на латинский историю и учение того несчастного и даже его закон, носящий имя «Коран». А чтобы верность перевода была полной, чтобы никакая ошибка не исказила нашего понимания, к христианским переводчикам я добавил сарацина. Вот имена христиан: Роберт Кеттенский, Герман Далматский, Петр из Толедо; сарацина же звали Мохаммедом. Таковая группа, перерыв все библиотеки этого варварского народа, извлекла из них ту огромную книгу, которую они опубликовали для латинского читателя. Сей труд был совершен в год, когда я прибыл в Испанию и встречался с сеньором Альфонсом, победоносным императором испанцев, то есть в 1142 году от Рождества Господня.

Образцовое предприятие Петра Достопочтенного находится как бы на краю занимающего нас переводческого движения.

Роза ветров, Aristote



Христианские переводчики Испании обращались не столько к самому исламу, сколько к греческим и арабским научным трактатам. Ключнийский аббат подчеркивает, что потребовалось немалое вознаграждение, дабы обзавестись специалистами. За профессиональный труд следовало хорошо платить.

Что было принесено на Запад этим первым типом ученого, интеллектуала-специалиста, к коему относились переводчики XII века: Яков Венецианский, Бургундио Пизанский, Моисей Бергамский, Леон Тускус в Византии и на севере Италии, Аристипп Палермский, Аделяр Батский, Платон Тиволийский, Герман Далматский, Роберт Кеттенский, Гуго Сантальский, Гундисальво, Герард Кромонский в Испании?

Заполняются лакуны в латинском наследии западной культуры — в области философии и, прежде всего, науки. Математика Эвклида, астрономия Птолемея, медицина Гиппократ и Галена, физика, логика и этика Аристотеля — вот огромный вклад этих тружеников. Быть может, метод был даже важнее самого содержания. Любознательность, рассудительность и вся *Logica Nova* Аристотеля: две Аналитики (*priora* и *posteriora*). Топика, Опровержения (*Sofistici Elenchi*), к которым скоро прибавилась *Logica Vetus* — Старая Логика, известная через Боэция, а теперь вновь получившая распространение. Таково было потрясение,

17

**Симон, аббат монастыря Св. Альбина (1167-1183) у
книжного сундука**



стимул, урок, преподанный античным эллинизмом, пришедшим на Запад долгим круглым путем через Восток и Африку. Добавим к этому собственно арабские привнесения. Арифметика с Алгеброй Аль-Хорезми предваряла знакомство Запада с арабскими цифрами (на деле индийскими, но пришедшими через арабов) в самом начале XIII века благодаря Леонардо из Пизы. Медицина не только Рази, прозванного христианами Разесом, но, прежде всего, Ибн-Сины, или Авиценны, чья медицинская энциклопедия, или *Канон*, стала настольной книгой западных врачей. Астрономы, ботаники, агрономы и еще более алхимики, передавшие латинянам свои лихорадочные поиски эликсира... Наконец, философия, которая, отталкиваясь от Аристотеля, воздвигла мощные синтетические системы Аль-Фараби и Авиценны. Вместе с трудами пришли наименования цифр, нуль, алгебра — они перешли от арабов к христианам вместе с коммерческой лексикой: дуань (таможня), базар, фон-дук (fondacco — склад товаров), габель (налог на соль), чек и т. д. Этим объясняется отправление в Италию и, особенно, в Испанию большого числа жаждущих познаний, вроде англичанина Даниэля Морлийского, поведавшего епископу Норвича о своем пути интеллектуального развития.

Страсть к учению прогнала меня из Англии. Какое-то время я пребывал в Париже. Но тут я нашел только дикарей, важно восседавших, на своих, скамьях рядом с парой-тройкой табуреток, нагруженных огромными томами, в коих позолоченными буквами воспроизводились уроки Ульпина: свинцовыми перьями они с трудом выводили звездочки и обели¹ в своих книгах. Невежество побуждало их к неподвижности истуканов, но они притязали даже на то, что уже одним своим молчанием демонстрируют мудрость. Стоило же им открыть рот, и слышен был лишь детский лепет. Поняв это, я задумался о том, как бы мне избежать подобной опасности и овладеть «искусством» толкования Писания, а не просто воздавать ему хвалы или сторониться его за краткостью ума. Поскольку доньше в Толедо обучение арабов почти целиком посвящено искусствам квадривиума² и избавлено от наплыва толпы, я поспешил туда, дабы слушать лекции самых ученых философов мира. Друзья отозвали меня, и, хотя меня приглашали вернуться в Испанию, я приехал в Англию с немалым числом ценных книг. Мне говорили, что в этих краях преподавание свободных искусств никому не известно, что Аристотель и Платон были преданы здесь забвению ради Тита и Сеяна. Велика была моя печаль, и, чтобы не оставаться единственным греком среди римлян, я собрался в дорогу, дабы найти место, где я мог бы учить и способствовать расцвету таких наук... Пусть никто не смущается, если, говоря о творении мира, я привожу свидетельства не отцов церкви, но языческих философов, поскольку, хотя они и не причислены к правоверным, иные из их речений должны войти в наше образование, дополняемые верой. Ведь мы сами чудесным образом были спасены на пути из Египта, и Господь велел нам забрать сокровища египтян, чтобы передать их евреям. По велению Господа и с его помощью нам надлежит отнять у языческих философов их мудрость и красноречие: ограбим неверных так, чтобы обогатить добычей нашу веру.

Даниэль Морлийский увидел в Париже лишь следование традиции, упадок, запустение. Париж XII века был иным.

Испания и Италия знали только первый этап обретения греко-арабских материалов — труд переводчика, позволивший интеллектуалам Запада усвоить эти материалы.

¹Значки на полях, которыми помечались ошибки.

²То есть наукам.

Центры, в которых происходило дальнейшее включение восточных привнесений в христианскую культуру, находились не здесь. Самыми важными из них были Шартр и Париж, окруженные более традиционными Ланом, Реймсом, Орлеаном. То была другая зона, именно там шли обмен и переработка материалов в готовую продукцию, в ней встречались Север и Юг. Между Луарой и Рейном — в тех самых местах, где к ярмаркам Шампани примыкали крупная торговля и банки, — вырабатывалась культура, которая сделала Францию первой наследницей Греции и Рима, как предсказывал Алкуин и как воспевал Кретьен де Труа.

Париж: Вавилон или Иерусалим?

Из всех этих центров самым блестящим становится Париж, коему содействует растущий престиж монархии Капетингов. Мэтры и школяры толпятся либо на Сити с его школой при соборе, либо на левом берегу с его все более возрастающим числом школ, где они пользуются значительной независимостью. Вокруг церкви Сен-Жюльен-ле-Повр, между улицами Бушри и Гарланд; и восточнее, вокруг школы каноников у церкви Сен-Виктор; а также к югу, взбираясь на холм, вершину которого, как корона, украшает большая школа при монастыре св. Женеьевы. Помимо постоянных профессоров капеллы Нотр-Дам, каноников Сен-Виктора и Сен-Женеьев, появляются и более независимые мэтры — профессора *агреже*, получившие от имени епископа и из рук главы школы *licentia docendi*, право на преподавание. Они притягивают в свои частные дома или в открытые для них монастыри Сен-Виктор и Сен-Женеьев все растущее число школяров. Париж обязан своей славой, прежде всего, расцвету теологического образования, составлявшего вершину школьных дисциплин; но вскоре — и даже в еще большей мере — эта слава придет к нему от той ветви философии, которая, обратившись к аристотелизму и используя силу суждения, превознесет рациональные способности ума — диалектики.

Так Париж реально или символически делается для одних городом-светочем, первоисточником интеллектуальных радостей, а для других — дьявольским вертепом, где разврат помраченных философией умов перемешался с мерзостью жизни,

преданной игре, вину и женщинам. Большой город — место гибели, а Париж — это современный Вавилон. Св. Бернард призывает к парижским учителям и студентам: *Покиньте сей Вавилон, бегите, спасайте ваши души. Летите все вместе в города-приюты, где сможете раскаяться в прошлом, жить благодатью в настоящем и с надеждой о будущем* (речь идет о монастырях). *В лесах обретете вы куда больше, чем в книгах. Деревья и камни научат более, чем любой учитель.*

Другой цистерцианец, Пьер де Сель, пишет: *О Париж, как ты умеешь завлекать и обольщать души! Твои сети порока, капканы зла, твои адские стрелы губят невинные сердца... Напротив, счастлива та школа, учителем в коей Христос, внушающий нашим сердцам слово мудрости, в коей мы без всяких лекций постигаем путь к вечной жизни! Там не покупают книг, не платят профессорам-грамотеям, в ней не слышно шумихи диспутов, не опутывает паутина софизмов. Решение всех проблем там просто, а познают там причину всего.*

Так, партия святого неведения противопоставляет школу одиночества школе шума, монастырскую школу — городской, школу Христа — школе Аристотеля и Гиппократа.

Фундаментальная оппозиция между новыми городскими клириками и монастырской братией, обновление которой в XII веке обнаруживает на Западе (через эволюцию бенедиктинского движения) крайности первоначального монашества, звучит в восклицании цистерцианца Гильома из Сен-Тьерри, близкого друга Бернарда: *Братья Божьей Горы! Они несут во тьму Запада свет Востока, а в холода Галлии — религиозное горение древнего Египта, а именно, уединенную жизнь, зеркало жизни небесной.*

По иронии судьбы в то самое время, когда городские интеллектуалы закладывают в греко-арабскую культуру закваску духа и метода мышления — метода, который станет характерным для Запада и создаст его интеллектуальную мощь с помощью ясности суждения, заботы о научной точности, согласования веры и разума, монастырский спиритуализм в самом сердце Запада провозглашает возврат к мистицизму Востока. Это важный момент: городские интеллектуалы уведут Запад от миражей Азии и Африки, от мистических миражей леса и пустыни.

Но сам этот уход монахов расчищает дорогу, ведущую к расцвету новых школ. Собор в Реймсе в 1131 году запрещает

монахам заниматься медициной за пределами монастырей; в результате это поприще освобождается для Гиппократов.

Парижские клирики не послушались св. Бернарда. Иоанн Солсберийский пишет Томасу Беккету в 1164 году: *Я обошел Париж. Когда я увидел изобилие товаров, людское веселье, почтение, коим пользуются клирики, величие и славу всей церкви, разнообразную деятельность философов, то восхитился словно узрел лестницу Иакова, вершина которой соприкасалась с небесами и по которой поднимались и спускались ангелы. В восторге от сего счастливого странствия я должен был признать: здесь жив Господь, а я того не ведал. Вот слова поэта, пришедшие мне на память: Счастлив изгнанник, место ссылки коего — его жилище.* Аббат Филипп Арвенский, сознавая богатство городского образования, пишет одному молодому ученику: *Следуя любви к науке, ты теперь в Париже, ты обрел тот Иерусалим, которого жаждут многие. Это — дом Давидов..., дом мудреца Соломона. Такое стечение народа, такая толпа клириков, что скоро они числом своим превзойдут мирян. Счастлив тот город, где с таким рвением читают священные книги, где сложнейшие тайны разрешаются по милости Св. Духа, где столько знаменитых профессоров, где такая богословская ученость, что можно назвать его градом свободных искусств!*

Голиарды

В этом хоре похвал Парижу с особой силой звучит высокий голос странной группы интеллектуалов. Это — голиарды, для них Париж — земной рай, роза мира, бальзам вселенной. *Paradisius mundi Parisius, mundi rosa, balsamum orbis.*

Кто такие голиарды? Все скрывает от нас эту фигуру. Анонимность, скрывающая большинство из них, легенды, пущенные в шутку ими самими, или те, что распространялись их недругами, обильно сдобренные клеветой и злоречием; наконец, истории, сложенные эрудитами и современными историками, заблудившимися в обманчивых подобиях и ослепленными предрассудками. Иные из этих историй перенимают проклятия соборов и синодов, а также некоторых церковных писателей XII-XIII веков Клириков-голиардов, или странствующих клириков, называли

бродягами, развратниками, фиглярами, шутами. Одни изображали их как бегемота, псевдостудентов, глядя на них то с известным умилением (пусть молодежь перебесится!), то с опаской и презрением (смутьяны, нарушители порядка, разве они не опасны?). Другие, наоборот, видят в них своего рода городскую интеллигенцию, революционную среду, открытую всем формам явной оппозиции феодализму. Где же истина?

Стоит нам избавиться от фантастических этимологии, и оказывается, что нам неведомо даже происхождение слова «голиард». Его считали производным от Голиафа, воплощения дьявола, врага Бога, или от *gula*, — глотки, дабы сделать из учеников сего врага божьего пьянчуг и горлопанов. Так как Голиаса, исторического основателя ордена, членами которого были голиарды, найти не удалось, то нам остаются лишь несколько биографических деталей кое-кого из них и сборники стихов — индивидуальные или коллективные, *carmina burana*, — а также проклинаящие или очерняющие их современные тексты.

Интеллектуальное бродяжничество

Нет никаких сомнений в том, что они сформировали среду, где охотно критиковали общество с его институтами. Будь они городского, крестьянского или даже дворянского происхождения, голиарды являлись, прежде всего, странниками, типичными представителями той эпохи, когда демографический рост, пробуждение торговли, строительство городов подрывали феодальные структуры и выбрасывали на дороги, собирали на перекрестках (которыми и были города) всякого рода деклассированных, смельчаков, нищих. Голиарды — это плод социальной мобильности, характерной для XII века. Уже бегство за пределы устоявшихся структур было скандалом для традиционно настроенных умов. Раннее средневековье старалось прикрепить каждого к своему месту, к своему делу, ордену, сословию. Голиарды были беглецами. Они бежали, не имея средств к существованию, а потому в городских школах сбивались в стаи бедных школяров, живших чем и как придется, нищенствовавших, становившихся слугами у своих более зажиточных соучеников, ибо, как сказано Эвхардом Германским: *Если Париж — рай для богатых, то для*

бедных он — жаждущая добычи тряпина. Он оплакивает *Parisiana fames*, голод несчастных парижских студентов.

Чтобы заработать себе на жизнь, они иной раз делались циркачами и шутами; отсюда, вероятно, происходит еще одно их имя. Но следует помнить, что слово *joculator*, жонглер, в ту эпоху было эпитетом для всех тех, кого находили опасным, кого хотели выбросить за пределы общества. *Joculator?* — Да это же «красный», это бунтовщик!

У этих бедных школяров не было ни постоянного жилья, ни доходного места, ни бенефиция, а потому они пускались в интеллектуальные авантюры, следовали за приглянувшимся им учителем, сбегались к знаменитостям, переноса из города в город полученное образование. Они формируют костяк того школьного бродяжничества, которое было так свойственно XII веку. Они привносят в него дух авантюры, импульсивности, дерзости. Но они не составляют какого-то класса. Они разнятся своим происхождением, у них различные притязания.

Учебе они, конечно, предпочли бы войну. Но их собратьями уже и без того полна армия крестоносцев, разбойничавших на всех дорогах Европы и Азии и только что разграбивших Константинополь. Но хотя все голиарды и предаются критике, то некоторые из них, быть может, многие, мечтают сделаться теми, кого они критикуют. Так, Гуго Орлеанский, по прозвищу Примас, успешно учил в Орлеане и Париже, вполне оправдывал свою репутацию насмешника (послужив впоследствии прообразом *Primasso* в «Декамероне»), жил всегда в безденежье и сохранял остроту настороженного взгляда, а вот Архипиита Кельнский перебивался подачками за лесть со стола Регинальда Дассельского, германского прелата и архиканцлера Фридриха Барбароссы. Серлон Вильтонский примкнул к партии Матильды Английской, покаялся и вступил в орден цистрцианцев. Готье Лилльский жил при дворе Генриха II Плантагенета, а затем у архиепископа Рей-мского и умер каноником. Они мечтали о щедром меценате, о пребенде, о счастливой жизни на широкую ногу. Кажется, они хотели не столько поменять социальный порядок, сколько сделаться его новыми бенефициариями.

Имморализм

И все же сами темы их поэзии беспощадно атакуют это общество. У многих из них явно различимы черты революционеров. Игра, вино, любовь — вот воспеваемая ими трилогия, вызывавшая негодование благочестивых душ того времени, хотя сей грех им легко прощают современные историки.

*Создан из материи слабой, легковесной,
Я — как лист, что по полю гонит ветр окрестный.*

*Как ладья, что кормчего потеряла в море,
Словно птица в воздухе на небес просторе,
Все ношусь без удержу я себе на горе.*

*Ранит сердце чудное девушек цветенье —
Я целую каждую — хоть в воображеньи!*

*Во-вторых, горячкою мучим я игорной; Часто
ей обязан я наготой позорной. Но тогда
незябнущий дух мой необорный Мне внушает
лучшие из стихов бесспорно.*

*В кабаке возьми меня, смерть, а не на ложе!
Быть к вину поблизости мне всего дороже.
Будет петь и ангелам веселее тоже: «Над
великим пьяницей смилуйся, о божие!»*

Все это кажется безобидным и разве что предвещает гений того же Вийона. Но остережемся от скорых суждений, в поэме есть более острые слова:

*О своем спасении думаю немного
И лишь к плотским радостям льну душой убогой.*

*Воевать с природою, право, труд напрасный:
Можно ль перед девушкой вид хранить
бесстрастный?
Над душою юноши правила не властны:
Он воспламеняется формою прекрасной.*

(Пер. О. Б. Румера)

Разве в этом провоцирующем имморализме, в этой похвале эротике, иногда граничившей у голиардов с непристойностью, не проступают естественная мораль, отрицание церковного учения и традиционной морали? Разве голиард не принадлежит к той большой семье вольнодумцев, которые, помимо свободы нравов и свободы слова, стремились также к свободе духа?

В образе колеса фортуны, постоянно появлявшемся в поэзии клириков-вагантов, содержится не только поэтическая тема; и, конечно, они вкладывали в этот образ больше, чем их современники, которые без злого умысла и без задних мыслей изображали это колесо в своих соборах. Однако вращающееся колесо фортуны, вечное возвращение, слепой случай, свергающий преуспевших, по существу, не являются и революционными темами: они отвергают прогресс, отрицают смысл Истории. Они могут звать к общественным потрясениям, но ровно настолько, насколько в них отсутствует интерес к послезавтрашнему дню. Именно в этих образах предстает склонность голиардов к бунту если не к революции: их они воспевали и изображали в своих миниатюрах.

Критика общества

Важно то, что поэзия вагантов обрушивается на всех представителей порядка раннего средневековья задолго до того, как это стало общим местом буржуазной литературы, — на церковников, аристократов, даже на крестьян.

В церкви излюбленными мишенями голиардов являются те, кто социально, политически, идеологически наиболее привязаны к общественным структурам: папа, епископы, монахи.

Антипапское и антиримское вдохновение голиардов сближает их, однако не смешивая, с двумя другими течениями. Во-первых, это гибеллины, нападавшие, прежде всего, на мирские притязания папства и державшиеся стороны империи против духовенства. Во-вторых, морализаторское течение, упрекавшее папу и римский двор за компромиссы с духом времени, за роскошь, за корыстолюбие. Конечно, в имперской партии было немало голиардов — хотя бы тот же Архипита Кельнский, — и их поэзия часто имеет своим истоком антипапские сатиры, даже если последние довольствовались традиционными темами и часто

были довольно беззубыми. Но и по тону, и по духу голиарды явно отличаются от гибеллинов. В римском первосвященнике и его окружении гибеллины видели главу и гаранта социального, политического, идеологического порядка, более того — главу социальной иерархии, тогда как голиарды были не столько революционерами, сколько анархистами. В то время, как папство после григорианской реформы стремится отойти от феодальных структур и опереться не только на старую власть земли, но и на новую власть денег, голиарды разоблачают эту новую ориентацию, не забывая обрушиваться и на старую.

Григорий VII заявил: *Гоподь не говорил: «Мое имя Обычай».* Голиарды обвиняют его наследников, которые понуждают Господа говорить: *Имя мое — Деньги.*

СВЯТОГО ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА СЕРЕБРА — ЧТЕНИЕ. Во время оно рече папа к римлянам: «Когда же придет сын человеческий к престолу славы нашей, перво-наперво вопросите: «Друг, для чего ты пришел?» Но если не перестанет стучаться, ничего вам не давая, выбросьте его во тьму внешнюю. И было так, что явился бедный некий клирик в курию отца, папы и возгласил, говоря: «Помилуйте меня, привратники папские; ибо рука нищеты коснулась меня; я же беден и нищ; а посему прошу, да поможете невзгоде моей и нужде моей». Они же, услышав, вознегодовали зело и рекли: «Друг, бедность твоя да будет в погибель с тобою! Отойди от меня, сатана, ибо пахнешь ты не тем, чем пахнут деньги. Аминь, аминь, глаголю тебе: не войдешь в радость господина твоего, пока не отдашь до последнего кодранта. Бедный же пошел и продал плащ и рубаху и все, что имел, и дал кардиналам, и привратникам, и спальникам; но они отвечали: «Что это для такого множества!» — и выгнали его вон; он же, вышед вон, плакался горько, не имея себе утешения.

После же пришед к вратам курии некий клирик, утучневший, отолстевший и ожиревший, который во время мятежа сделал убийство; сей дал, во-первых, привратнику, во-вторых, спальнику, в-третьих, кардиналам, но они думали, что получают большие.

Отец же, папа, услышав, что кардиналы и слуги прияли от клирика мзду многую, заболел даже до смерти; но богатый послал ему снадобие золотое и серебряное, и он тотчас же исцелился. Тогда призвал отец, папа, к себе кардиналов и слуг и вещал к ним: «Смотрите, братие, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо

я дал вам пример, дабы так, как я беру, и вы бы брали» (Пер. Б. И. Ярхо).

От соглашательства с дворянами церковники теперь перешли к сговору с богатеями. Церковь рычала вместе с феодалами, ныне она лает вместе с торговцами. Голиарды, следуя тем интеллектуалам, которые стремились нести в города светскую культуру, клеймили такую эволюцию церкви:

*Мир над клиром так глумится, Что у всех
краснеют лица; Церковь, божия девица, Стала
уличной блудницей.* (Sponsa Christi fit mercalis,
generosa generalis). (Пер. М. Л. Гаспарова)

Малая роль денег в раннем средневековье ограничивала симонию. Теперь власть денег становится всеобщей.

В духе романского гротеска сатирический bestiарий голиардов строится в виде фриза с изображенными в образах зверей церковниками — на фронтоне общества возникает мир клерикальных химер. Папа — лев всепожирающий; епископ — бык, пастырь ненасытный, шествует перед своим стадом, поедая всю траву; его архидиаконы подобны рысям, преследующим добычу; его настоятель напоминает охотничьего пса, который рвется с поводка и загоняет добычу с помощью чиновников — епископских охотников. Таково «Правило Игры» по описанию голиардов.

Если кюре, считавшийся жертвой иерархии и собратом по нищете и эксплуатации, как правило, не затрагивается голиардами, то на монаха они нападают нещадно. В этих нападках они не ограничиваются традиционным высмеиванием дурных нравов монашества — обжорства, лени, распутства. С точки зрения белого духовенства, — а она близка взгляду мирян, — монахи стали конкурентами бедных приходских священников, отнимающих у кюре пребенды, кающихся, верующих. В следующем веке этот спор обострится в университетах. Кроме того, уже здесь мы находим отрицание значительной части христианства — тех, кто хочет бежать от этого мира, тех, кто отвергает землю, кто в одиночестве предается аскезе, бедности, воздержанию, даже невежеству, понимаемому как отказ от духовных благ. Таковы два типа жизни: доведенное до предела противопоставление деятель-

ной и созерцательной жизни, рай на земле и страстный поиск спасения по ту сторону мира сего — вот что лежит в основе антагонизма монаха и голиарда и делает последнего предшественником гуманиста Возрождения. Поэт, сочинивший *Deus pater, adiuvā*, сочинение, в котором молодого клирика отвращают от монашеской жизни, предвещает атаки Лоренцо Баллы на *gens cucullata* — расу клобуков.

Как городской житель голиард испытывает презрение к сельскому миру и питает лишь отвращение к его воплощению — грубому мужлану, которого он бесчестит в знаменитом «Склонении мужика»:

*Сей подлец
Из мужиков
Отдан бесу
Этот вор
И разбойник-мародер.
Нечестивцы Средь
презренных Сим
безбожникам Лжецам
Окаянным подлецам.*

Последней его мишенью становится рыцарь. Голиард отвергает его привилегию рождения.

*Благороден тот, кого облагородила добродетель.
Выродок тот, кого не обогатила никакая
добродетель.*

Старому порядку он противопоставляет новый, основанный на личных заслугах.

*Благородство человека — дух, образ божества.
Благородство человека — именитость добродетелей.
Благородство человека — самообладание. Благородство
человека — возвышение скромного. Благородство
человека — права, полученные от природы. Благородство
человека — не бояться ничего, кроме гнусности.*

В благородном он презирает также военного, солдата. Для городского интеллектуала битвы духа, поединки диалектики заменили честь оружия и достоинство военных побед. Архипиита Кельнский говорит о своем отвращении к делам военным (*те*)

terrui labor militarise) так же, как и Абеляр, один из величайших поэтов-голиардов, выражает это в стихах (к сожалению, утерянных), которые читали вслух и пели на горе св. Женевьевы, подобно тому, как сегодня напевают модные песенки.

Этот антагонизм благородного воина и интеллектуала нового стиля нашел наилучшее выражение в области, представляющей особый интерес для социолога, — в области межполовых взаимоотношений. В основе вдохновившего множество поэм спора клирика с рыцарем лежит соперничество двух социальных групп из-за женщин. Голиарды полагали, что им не выразить лучше своего превосходства над феодалами, чем хвастовством своими успехами у женского пола. Женщины предпочитают нас, клирик умеет любить лучше рыцаря. В этом заявлении социолог должен разглядеть замечательное проявление борьбы социальных групп.

В *Прених Флоры и Филлиды* одна героиня любит клирика, а другая — рыцаря (*miles*); в заключение подводится итог обсуждения и выносится приговор куртуазного суда:

*И собравшись на зов и принявши меры,
Чтобы справедливости соблюсти примеры,
Молвил суд обычая, знания и веры: «Клирик
выше рыцаря в царствии Венеры!».*

(Пер. М. Л. Гаспарова)

Несмотря на все свое значение, голиарды существовали на окраине интеллектуального движения. Несомненно, они ввели в оборот темы будущего, которые еще успеют обрести более достойный облик. Они живейшим образом представили среду, которая жаждала свободы. Они передали следующему веку немало идей о естественной морали, свободе нравов и вольномыслии, свою критику религиозного общества — все это мы найдем у университетских профессоров, в поэзии Рютблфа, в *Романе о Розе* Жана де Мена, в некоторых тезисах, осужденных в Париже в 1277 году. Однако в XIII столетии голиарды исчезают. Их заделали преследования и проклятия, но и собственная склонность к чисто разрушительной критике не позволила им найти свое место в строительстве университета, который они так часто покидали, чтобы успеть насладиться жизнью и постранствовать. Закрепление интеллектуального движения происходило в организованных центрах, в университетах, откуда потихоньку удалились эти бродяги.

Абеляр

Петр Абеляр тоже был голиардом, но он был и чем-то много большим — славой этой парижской среды. Первым великим интеллектуалом современного типа — пусть в рамках *modernitas* XII века. Абеляр — это первый *профессор*.

Удивляет уже необычность его карьеры. Бретонец из-под Нанта, он родился в Пале в 1079 году и принадлежал к мелкому дворянству, жизнь которого становилась трудной вместе с началом развития денежной экономики. Он с радостью оставляет воинские труды своим братьям и обращается к учебе.

Абеляр отрекся от военных битв, оставив их ради других боев. Вечный спорщик, он станет, по словам Поля Виньо, рыцарем диалектики. Он все время куда-то спешит — туда, где начинается схватка. И всех будоражит, вызывая на каждом шагу горячие дискуссии.

Интеллектуальный крестовый поход фатально влечет его в Париж. Здесь раскрывается другая черта его характера — потребность разбивать идола. Его вера в себя (*de me presumens*, как он в том охотно признавался), означающая не самовосхваление, но чувство собственного достоинства, побуждает его атаковать самого известного из парижских мэтров, Гильома из Шампо. Абеляр его провоцирует, припирает к стенке, похищает у него слушателей. Гильом гонит его прочь, однако поздно: молодой талант уже не заглушить, он сделался мэтром. Слушатели отправляются за ним в Мелён, затем в Корбейль, где он формирует школу. Тут человека, живущего одним интеллектом, предаёт тело: Абеляр заболел и должен был на несколько лет удалиться в Бретань.

Восстановив свои силы, он снова находит своего старого врага Гильома в Париже. Новые столкновения, потрясенный Гильом вынужден подправлять свое учение: он пытается учесть критику молодого противника. Последний этим не удовлетворяется и заходит столь далеко, что, в конце концов, принужден вновь отступить в Мелён. Тем не менее, победа Гильома стала его поражением: его покинули все ученики. Старый мэтр побежден и оставляет преподавание. Абеляр возвращается с триумфом и располагается именно там, откуда удалился его старый противник, на холме св. Женевьевы. Жребий брошен, парижская куль-

тура отныне и навсегда имеет своим центром не остров Сите, а гору, левый берег. Один человек определил судьбу квартала.

Абеляр страдает от того, что теперь у него нет достойного соперника. Его, как логика, бесит то, что теологи возвышаются над всеми прочими. Он дает себе зарок - самому сделаться богословом. И вновь становится студентом: спешит в Лан на лекции самого знаменитого богослова того времени, Ансельма Ланского. Слава Ансельма не смогла долго противостоять иконоборческой страсти горячего антитрадиционалиста.

Итак, я пришел к этому старцу, который был обязан славой больше своей долголетней преподавательской деятельности, нежели своему уму или памяти. Если кто-нибудь приходил к нему с целью разрешить какое-нибудь свое недоумение, то уходил от него с еще большим недоумением. Правда, его слушатели им восхищались, но он казался ничтожным вопрошавшим его о чем-либо. Он изумительно владел речью, но она была крайне бедна содержанием и лишена мысли. Зажигая огонь, он наполнял свой дом дымом, а не озарял его светом. Он был похож на дерево с листвой, которое издали представлялось величественным, но вблизи и при внимательном рассмотрении оказывалось бесплодным. И вот, когда я подошел к этому дереву с целью собрать с него плоды, оказалось, что это проклятая Господом смоковница или тот старый дуб, с которым сравнивает Помпей Лукан, говоря:

*...Встала великого имени тень —
Словно дуб высокий среди плодородного поля.*

Убедившись в этом на опыте, я недолго оставался в праздности под его сенью (Пер. В. А. Соколова).

Ему бросают вызов — показать, на что он сам годится. Он поднимает перчатку. Напоминают, что если он обладает глубокими познаниями в философии, то в богословии он невежда. Он отвечает, что будет руководствоваться тем же методом. Следует указание на его неопытность. *Я с негодованием ответил, что в моем обычае разрешать вопросы, опираясь не на кропотливый труд, но на разум.* Абеляр импровизирует комментарий на пророчества Иезекииля, вызывая восторг у слушателей. Из рук в руки переходят записи этой лекции, их копируют. Рост аудитории побуждает его продолжать комментарий. С этой целью он возвращается в Париж.

Элоиза

Пришла слава, которая была безжалостно прервана романом с Элоизой. Детали нам известны из необыкновенной автобиографии, своего рода исповеди — *Historia Calamitatum, Истории моих бедствий*.

Роман начался в духе *Опасных связей*. Абельяр не был повесой. Однако бес одолел этого интеллектуала 39 лет, знавшего любовь лишь по Овидию и по сочиняемым им самим стихам, — стихам голиарда, но по духу, а не по опыту. Он горд, что находится на вершине славы, и сам признается: *Я считал уже себя единственным сохранившимся в мире философом...* Элоиза — это еще одно завоевание, приложение к завоеваниям разума. Да и само это приключение возникло больше из головы, чем по зову плоти. Он узнает о племяннице каноника Фульберта: ей 17 лет, она очень недурна собой, а знаниями своими уже знаменита по всей Франции. Вот женщина, которая его достойна! Глупую он не потерпел бы, ему нравится, что она к тому же и хороша собой. Это вопрос вкуса и престижа. Он хладнокровно разрабатывает план, который ему более чем удастся. Каноник вверяет Абельяру Элоизу как ученицу, ему льстит, что обучать ее будет такой знаменитый мэтр. При обсуждении платы Абельяр охотно принимает предложенные скуповатым Фульбертом стол и кров. Дьявол не дремлет: между учеником и ученицей словно пробегает молния. Интеллектуальное общение скоро переходит в общение плотское. Абельяр забрасывает преподавание, свои труды, ему не до них. Роман продолжается и углубляется. Рождается любовь, которая уже никогда не уйдет. Она переживет и неприятности, и драму.

Первая неприятность: тайное становится явным. Абельяру должен покинуть дом обманутого им хозяина. Они встречаются в другом месте, разлука только укрепляет их любовь. Она выше бесчестия.

Вторая неприятность: Элоиза беременна. Абельяр пользуется отсутствием Фульбера и похищает возлюбленную, переодев ее в монахиню, чтобы спрятать у своей сестры в Бретани. Элоиза рождает сына, получившего вычурное имя Астролябий. Опасно быть сыном пары интеллектуалов...

Третья неприятность: возникает проблема брака. В отчаянии Абельяр готов предложить Фульберту искупить свой грех, женясь



на Элоизе. В своем превосходном исследовании об этой знаменитой паре Этьен Жильсон показал, что отвращение Абельяра к супружеству связано не с тем, что он был клириком. Будучи простым посвященным, он мог жениться по всем канонам. Но он боялся, что, обзаведясь семьей, он подорвет свою карьеру преподавателя, станет насмешкой для школяров.

Женщина и брак в XII веке

В XII веке появляется сильное антиматримониальное течение. В то самое время, когда женщина становится более свободной, когда она уже не рассматривается как собственность мужчины или как машина по производству детей, когда не задаются более вопросом о наличии у нее души (на Западе - это век подъема института брака), в это время супружество дискредитируется как среди дворян (куртуазная любовь, плотская она или духовная, существует лишь вне брака и свое идеальное воплощение находит в Тристане и Изольде, Ланселоте и Гиневре), так и в университетской среде, где создается целая теория естественной любви, которую в следующем веке мы находим в *Романе о Розе* Жана де Мена.

Итак, присутствие женщины; Элоиза появляется рядом с Абеляром в то время, когда женщина присоединяется — не без помощи голиардов — к интеллектуальному движению, требующему радостей плоти для клириков, не исключая и священников. Тем самым заявляет о себе еще одна сторона нового облика интеллектуала XII столетия. Его гуманизм требует всей полноты человечности и отвергает все, что может показаться самоумалением. Для самореализации ему рядом нужна женщина. Ссылаясь и на Ветхий, и на Новый Завет, голиарды говорят свободным от условностей языком и подчеркивают, что мужчина и женщина наделены органами, которыми они могут пользоваться без стыда. Отставим в сторону сальности и сомнительные шутки голиардов. Подумаем лучше о духовном, психологическом климате, чтобы лучше понять размах драмы Абеляра, понять его чувства.

Первой по этому поводу высказывается Элоиза. В поразительном по своей выразительности письме она предлагает Абеляру отказаться от мысли о супружестве. Она напоминает о домашнем хозяйстве живущих в бедности интеллектуалов: *И если даже отвлечься теперь от этого препятствия к философским занятиям, то представь себе условия совместной жизни в законном браке. Что может быть общего между учениками и домашней прислугой, между налом для письма и детской люлькой, между книгами или таблицами и прялкой, стилем или каломом и веретеном? Далее, кто же, намереваясь посвятить себя богословским или философским размышлениям, может выносить плач детей, заунывные песни успокаивающих их кормилиц и гомон толпы домашних слуг и служанок? Кто в*

состоянии терпеливо смотреть на постоянную нечистоплотность маленьких детей? Это, скажешь ты, возможно для богачей, во дворцах или просторных домах, в которых есть много различных комнат. Для богачей, благосостояние которых нечувствительно к расходам и которые не знают тревожных ежедневных забот. Но я возражу, что философы находятся совсем не в таком положении, как богачи; тот, кто печется о приобретении богатства, занят мирскими заботами, не будет заниматься богословскими или философскими вопросами.

Кроме того, при отвержении брачных уз для мудреца, можно сослаться на известные авторитеты, например, на Теофраста, аргументы которого перенимает св. Иероним в *Adversus Jovinianum*, — книге, сделавшейся модной в XII веке. Рядом с этим отцом церкви можно также поместить античный авторитет Цицерона, отказавшегося после развода с Теренцией вступать в брак с сестрой своего друга Гирция.

Абеляр отвергает жертву Элоизы. Он решает на брак, но на брак тайный. Чтобы успокоить Фульберта, его оповещают о браке, и он даже благославляет таковой.

Однако у актеров этой драмы различные намерения. Абеляр с успокоенной совестью думает вернуться к своим трудам: Элоиза должна оставаться в тени. Фульберт же, со своей стороны, желает, чтобы весть о свадьбе разошлась, дабы всем стало известно о полученной им сатисфакции. Тем самым он хотел подорвать авторитет Абеляра, которому он так ничего и не простил.

Абеляру это надоело, и он задумал такую стратегию: Элоиза удалится в монастырь в Аржантейле, где облачится в послушницу. Это положит конец сплетням. Элоиза, у которой уже нет иной воли, кроме абеляровой, будет ждать в роли послушницы, пока не смолкнут слухи. Но этот план не включал в себя Фульберта, хотя был задуман, чтобы его обыграть. Фульберт вообразил, что Абеляр избавился от Элоизы, принудив ее принять постриг и тем самым разорвав брак. Ночью в дом Абеляра врывается карательная экспедиция: его калечат, поутру на скандал собирается толпа.

Абеляр пытается скрыть свой срам в аббатстве Сен-Дени. Его отчаяние понятно: может ли евнух быть вполне человеком?

Теперь оставим Элоизу, она более не послужит нашим целям. Известно, что до самой смерти продолжалось общение двух любящих душ — в письмах из одного монастыря в другой.

Новые бои

Интеллектуальная страсть спасла Абельяра. Залечив раны, он вернул себе и боевой задор. Невежественные и грубые монахи ему претят. Но и монахам он надоел своей гордыней. К тому же их уединенным молитвам мешает толпа учеников, прибывающих просить мэтра о возвращении к преподаванию. Он пишет для них свой первый богословский трактат. Его успех вызывает гнев: собрание, украсившее себя именем собора, созывается в Суассоне в 1121 году с целью осудить трактат. Причем в напряженной атмосфере враги Абельяра собрали толпу, грозившую его линчевать. Несмотря на усилия епископа Шартрского, предлагавшего ограничиться наставлением, книгу сжигают, а Абельяра приговаривают к пребыванию в монастыре до скончания.

Он возвращается в Сен-Дени, где с новой силой вспыхивают ссоры с монахами. Но не он ли сам разжигает их? Он доказывает, что знаменитые страницы Гильдуина, посвященные основателю аббатства, — вздорные сказки, что первый епископ парижский не имеет ничего общего с Дионисием Ареопагитом, коего обратил апостол Павел. Через год он бежит из этого монастыря и, наконец, находит убежище у епископа Труа. Он строит себе небольшую молельню Св. Троицы и живет там в одиночестве. Он ничего не забыл: его осужденная книга была посвящена Троице.

Его убежище вскоре обнаружено учениками, нарушающими его затворничество. Вокруг возводится деревня из их хижины и палаток. Молельня растет, перестраивается из камня и получает провоцирующее имя — Утешитель. Только преподавание Абельяра помогает этим новоявленным селянам забыть о городских удовольствиях. Они меланхолически вспоминают: ведь вот школяры в городах имеют все необходимое.

Спокойная жизнь Абельяра длится недолго. Два новых апостола, как он их называет, составляют против него заговор. Речь идет о св. Норберте, основателе ордена премонстрантов, и св. Бернарде, реформаторе цистерцианского ордена из аббатства Сито. Они досаждают ему настолько, что он даже подумывает о бегстве на Восток. *Богу известно, как часто я впадал в отчаяние и помышлял даже о бегстве из христианского мира и о переселении к язычникам* (отправиться к сарацинам, как уточнил при переводе Жан де Мен), *чтобы там, среди врагов Христа, под условием*

уплаты какой-нибудь дани спокойно жить по-христиански. Я полагал, что язычники отнесутся ко мне благосклоннее, чем менее они будут видеть во мне христианина вследствие приписываемых мне преступлений.

Абеляр был избавлен от такой крайности — от искушения первого западного интеллектуала, которого окружающий мир привел в отчаяние. Его избирают аббатом одного бретонского монастыря. Новые распри: он считает, что оказался среди варваров. Они не знают другого языка, кроме нижнебретонского. Монахи невообразимо грубы. Он пытается их чуть-чуть обтесать, а они в ответ хотят его отравить. В 1132 году он бежит и отсюда.

В 1136 году мы находим его на холме святой Женевьевы. Он снова учительствует, к нему ходит больше слушателей, чем когда бы то ни было. Арнольд Брешианский, изгнанный из Италии за подстрекательство к городскому мятежу, бежит в Париж и вступает там в союз с Абеляром. Он приводит к нему своих нищенствующих учеников. После осуждения в Суассоне Абеляр не переставал писать. И в 1140 году его враги вновь начинают атаку на его труды. Его связи с римским изгнанником только увеличивают их враждебность. Союз городского диалектика с демократическим движением коммун не мог ни обратить на себя внимание со стороны их общих противников.

Бернард Клервоский и Абеляр

Во главе врагов стоит Бернард Клервоский. По удачному выражению отца Шеню, аббат из Сито *находится по другую сторону христианства*. Этот сельский житель, оставшийся по духу своему феодалом и даже, прежде всего, воином, не создан для понимания городской *интеллигенции*. Против еретика или неверного он знает только одно средство — силу. Проповедник крестового похода, он не верит в то, что такой поход может быть интеллектуальным. Когда Петр Достопочтенный просит его прочесть перевод Корана, дабы «возразить Магомету пером», Бернард просто не отвечает ему. В монастырской келье он предается мистическому созерцанию, чтобы, дойдя до его высот, вернуться в мир как судия. Апостол одинокой жизни, он всегда готов сразиться с теми, кто хочет привнести новшества, кажущиеся ему

опасными. На склоне жизни он, по существу, правит христианским миром, диктуя приказы папе, приветствуя создание воинских орденов, мечтая об обращении всего Запада в рыцарство, в воинство Христово. Это уже готовый великий инквизитор.

Столкновение с Абеляром было неизбежным. Атаку начинает правая рука Бернарда, Гильом из Сен-Тьерри. В письме Бернарду он разоблачает нового богослова и побуждает своего именитого друга начать преследование. Бернард приезжает в Париж, он пытается увещать студентов. Успеха он не имеет, убеждаясь в размерах учиняемого Абеляром зла. Один из учеников Абеяра предлагает организовать в Сансе диспут перед собранием теологов и епископов. Мэтр должен возвыситься еще более в глазах своих слушателей. Св. Бернард тайком меняет план этого собрания. Аудитория превращается в собор, а его противник по диспуту — в обвиняемого. В ночь перед дебатами он созывает епископов, показывает им собранное на Абеяра досье и представляет его как опасного еретика. Наутро последнему не остается ничего другого, как поставить под сомнение правомочность собора и воззвать к папе. Епископы посылают в Рим довольно мягкое осуждение. Встревоженный этим Бернард торопится, чтобы его обогнать. Его секретарь мчится к преданным Бернарду кардиналам с письмами, помогающими вырвать у папы суровое осуждение Абеяра, книги которого приговорены к сожжению. Абеяра вновь должен отправиться в путь, он укрывается в Клуни. На этот раз он сломлен. Петр Достопочтенный принимает его с бесконечным милосердием, примиряет его с Бернардом Клервоским, добивается от Рима снятия отлучения и помещает в Шалоне в монастырь Сен-Марсель, где тот умирает 21 апреля 1142 года. Знаменитое аббатство Клуни посылает ему письменное отпущение грехов и напоследок делает еще один весьма деликатный жест — передает его прах Элоизе, аббатисе в Утешителе.

Такова эта жизнь — типичная в своей необычности. Из значительного числа сочинений Абеяра мы остановимся только на нескольких характерных моментах.

Логик

Абеляр был прежде всего логиком и, подобно всем великим философам, первым делом занялся вопросом о методе. Он был чемпионом диалектики. Своим *Учебником логики для начинающих (Logica ingredientibus)* и, прежде всего, своим *Да и нет (Sic et Non, 1122)* он дал западной мысли первое *Рассуждение о методе*. С блестящей простотой он доказывает необходимость обращения к собственной способности рассуждения. Отцы церкви ни по одному вопросу не были согласны друг с другом; там, где один видел «белое», другой находил «черное» — *Sic et Non*.

Отсюда необходимость науки о языке. Слова созданы, чтобы что-то обозначать (номинализм), но они имеют свою опору в реальности. Они соответствуют вещам, которые обозначают. Все усилия логики должны заключаться в том, чтобы установить адекватность языка и обозначаемой им реальности. Для такого требовательного ума язык является не покровом, скрывающим реальность, но выражением реальности. Этот профессор верит в онтологическую ценность своего инструмента — слова.

Моралист

Логик был также моралистом. В сочинении *«Этика, или Познай самого себя» (Ethica seu Scito te ipsum)* этот пропитавшийся античной философией христианин придает самосозерцанию не меньшее значение, чем монастырские мистики, вроде св. Бернарда или Гильома из Сен-Тьерри. Но, как отмечал М. де Гандильяк, *если для цистерцианцев «христианский сократизм» был, прежде всего, медитацией на тему бессилия человека-грешника, то в «Этике» самопознание предстает как анализ свободного согласия. От него зависит, принимаем мы или отвергаем то презрение Бога, каковым является грех.*

Св. Бернард восклицает: *Рожденные во грехе грешники, мы порождаем, грешников; рожденные должниками — должников; рожденные в разврате — развратников; рожденные рабами — рабов. Мы ущербны уже при появлении в этом мире, пока живем в нем и покидая его; с ног до головы в нас нет ничего неиспорченного.* Абеляр отвечает, что *грех есть лишь недостаток: грешить —*

значит презреть нашего Творца, значит не совершать во имя Его действий, которые мы считаем нашим долгом самоотречения ради Него. Определяя тем самым грех сугубо негативно, как согласие на дела порочные, или как отказ от дел добродетельных, мы ясно показываем, что грех не есть некая субстанция, ибо он заключается скорее в отсутствии, нежели в присутствии, и сходен с тьмой, которую можно было бы определить так: отсутствие света там, где должен был быть свет. Он наделяет человека способностью решения — согласием на добродетель или отказом от совершения таковой, в чем и видит центр моральной жизни.

Этим Абельяр сильнейшим образом способствовал подрыву одного из важнейших таинств христианства — епитимьи или покаяния. Перед лицом радикального зла человека церковь в варварские времена составляла списки грехов и тарифов положенных наказаний на манер варварских же законов. Пенитенциарии раннего средневековья свидетельствуют о том, что в то время главными в раскаянии считались грех и наказание за него. Абельяр выразил и укрепил противоположную установку. Самым важным является грешник, его намерение, а главным наказанием — раскаяние. *Сердечное раскаяние,* — пишет Абельяр, — *уничтожает грех, то есть презрение Бога или согласие на зло. Ибо милосердие Божие, вдохновляющее это стенание, несовместимо с грехом.* «Суммы» исповедников, появившиеся к концу того века, уже включают в себя этот переворот в психологии — если не в теологии — раскаяния. Так, в городах и в городских школах углубляется психологический анализ, происходит в полном смысле слова гуманизация таинств. Можно представить, насколько обогатился духовно западный человек!

Гуманист

Обратим внимание лишь на одну черту Абельяра-теолога. Никто больше него не говорил о союзе разума и веры. Задолго до Фомы Аквинского он идет в этом дальше великого начинателя новой теологии, Ансельма Кентерберийского, пустившего в оборот в предшествующем столетии плодотворную формулу веры в поисках разумения: «Верую; дабы понимать» (*fides quaerens intellectum*).

Тем самым Абельяр отвечал чаяниям школьных кругов, которые в теологии *требовали более человеческих и философских оснований и желали более понимать, нежели высказываться. К чему, говорили они, слова, лишённые разумности? Нельзя верить в непонятное и смехотворно обучать других тому, что не могут уразуметь ни сам обучающий, ни его слушатели.*

В последние месяцы своей жизни в Клуни наш гуманист в полной безмятежности начинает писать свой *Диалог Философа* (язычника), *Иудея и Христианина*. В нем он желает показать, что ни первородный грех, ни боговоплощение не были абсолютными разрывами в истории человечества. Он ищет общее в трех религиях, составляющих для него сумму человеческой мысли. Он хочет найти естественные законы, которые сверх всех религий позволяют признать каждого человека сыном Божиим. Его гуманизм завершается веротерпимостью, и перед лицом всех разделений он ищет то, что соединяет людей, памятуя, что *в доме Отца моего много обителей*. Абельяр был наивысшим выражением парижской среды. А вот в Шартре следует искать другие черты рождающегося интеллектуала.

Шартр и шартрский дух

Крупным научным центром века был Шартр. В нем не пренебрегали искусствами тривиума: грамматикой, риторикой, логикой; это видно по преподаванию Бернарда Шартрского. Но этому изучению *voces*, слов, в Шартре предпочитали изучение вещей, *res*, которые были предметом квадривиума: арифметики, геометрии, музыки, астрономии.

Именно эта ориентация определяет *шартрский дух* — дух любознательности, наблюдений, исследований, который расцвел, питаемый соками греко-арабской науки. Жажда познания получила такое распространение, что знаменитейший из популяризаторов века Гонорий Отенский резюмировал ее удивительной формулой: *Невежество — изгнание человека, его отечество — наука*.

Такого рода любознательность приводит в негодование умы, преданные традиции. Абсалон Сен-Викторский возмущается тем интересом, с которым здесь *изучают строение шара, природу*

элементов, расположение звезд, природу животных, силу ветра, жизнь растений и корней. Гильом из Сен-Тьерри жалуется св. Бернарду на людей, объясняющих творение первого человека *не от Бога, но от природы, от умов и от звезд.* Гильом из Конша отвечает: *Не ведая сил природы, они хотят, чтобы мы держались на привязи у их невежества, отрицают за нами право на исследование и осуждают нас на то, чтобы мы оставались деревенщиной, верующей без разума.*

В Шартре превозносятся и популяризируются несколько значимых фигур прошлого, которые (вследствие христианизации) становятся символами знания — *великими мифическими предками ученого.*

Соломон — учитель всякой восточной и еврейской учености; он не только мудрец Ветхого Завета, но также великий представитель герметической науки. С его именем связывается энциклопедия магических познаний, он — владыка тайн, хранитель секретов науки.

Александр предстает в первую очередь как исследователь. Его учитель Аристотель вдохнул в него страсть к изысканию, энтузиазм любознательности, матери науки. Получает распространение древнее апокрифическое послание, в котором он рассказывает своему учителю о чудесах Индии. Перенимается и легенда Плиния, согласно которой Александр поставил философа во главе научного проекта, снабдив его тысячью ученых, посланных во все концы света. Жажда знаний была двигателем всех его походов и завоеваний. Не довольствуясь покорением земли, он хотел изучить другие стихии. Он поднимался в воздух на ковре-самолете; соорудил стеклянную бочку и спускался в этом предке батискафа в глубины моря, дабы изучать нравы рыб и морскую флору. *К несчастью,* — пишет Александр Неккам, — *он не оставил нам описания своих наблюдений.*

Наконец, Вергилий, тот самый Вергилий, который предсказал явление Христа в своей четвертой эклоге и на могиле которого молился апостол Павел. Он собрал в *Энеиде* сумму познаний античного мира. Бернард Шартрский комментирует первые шесть книг поэмы как научный труд — наравне с Книгой Бытия. Так формируется легенда, которая приведет к замечательному персонажу Данте, к тому, кто будет призван автором *Божественной комедии: Tu duca, tu signore e tu maestro.*

Дух исследования столкнется с другой тенденцией шартрских интеллектуалов — духом рациональности. На пороге Нового времени эти две фундаментальные установки научного духа часто кажутся антагонистичными. Для ученых XII века опыт способен постичь только явления, видимости. Наука должна отвернуться от них, чтобы разумом постигать реальности. Мы еще увидим, сколь тяжким грузом отягощало такое разделение средневековую науку.

Шартрский натурализм

Основанием шартрского рационализма была вера во всемогущество Природы. Природа для шартрцев есть, прежде всего, порождающая сила, *mater generationis*, вечно творящая и обладающая неисчерпаемыми ресурсами. На этом зиждется натуралистический оптимизм XII века, века подъема и экспансии.

Но Природа также представляет собой космос, пример организованного и рационального единства. Она явлена как сеть законов, существование которых делает возможной и необходимой рациональную науку о вселенной. Таков другой источник оптимизма — разумность мира. Он не абсурден, он просто еще не понят; мир — это гармония, а не беспорядок. Потребность в упорядоченной вселенной ведет некоторых шартрцев к отрицанию существования изначального хаоса. Такова позиция Гильо-ма из Конша и Арно из Бонневаля, комментировавшего Книгу Бытия в следующих выражениях: *Бог, различая свойства мест и имен, придал вещам соответствующие им меры и назначения наподобие членов одного гигантского тела. Даже в тот отдаленный момент (Творения) у Бога не было ничего запутанного, ничего бесформенного, ибо материя вещей с самого творения была образована из соразмерного.*

В таком духе шартрцы комментировали Книгу Бытия, разъясняя ее, прежде всего, с помощью природных законов. *Физика-лизм* здесь противопоставляется *символизму*. Так, Тьерри Шартрский предлагает анализировать библейский текст *в согласии с физикой и буквально (secundum physicam et ad litteram)*. Так, со своей стороны, делал это и Абельяр в *Expositio in Hexameron*.

Для этих христиан подобные верования давались нелегко. Проблемой оставалось отношение между Природой и Богом. Для

шартрцев Бог хотя и создал Природу, но почитает данные Им Самим законы. Его всемогущество не противоречит детерминизму. Чудо имеет место в рамках порядка природы. *Важно не то, — пишет Гильом из Конша, — что Бог мог это сделать, важно исследовать это, объяснить рационально, показать цель и пользу. Несомненно, Бог мог все, но главное, что сделал Он то или другое. Конечно, Бог мог сделать теленка из ствола дерева, как о том говорит неотесанная деревенщина, но разве Он когда-нибудь это делал?*

Так происходит десакрализация природы, критика символизма — необходимые пролегомены ко всякой науке. Христианство, как показал Пьер Дюгем, сделало это возможным с момента своего распространения, перестав считать природу, звезды, явления богами, — что было свойственно античной науке, — но полагая их творениями Бога. Новый этап придал ценность рациональному характеру творения. *Против сторонников символического истолкования вселенной формируется требование: признать существование порядка автономных вторичных причин за действием Провидения.* Конечно, XII век еще полон символов, но интеллектуалы уже начинают склонять чашу весов в сторону рациональной науки.

Шартрский гуманизм

Однако дух Шартра прежде всего гуманистичен. Не только во вторичном смысле слова, поскольку для созидания своей доктрины он обращается к античной культуре; но, прежде всего, потому, что человека он делает средоточием своей науки, своей философии и чуть ли не теологии.

Человек есть объект и центр творения. Смысл споров *Sic Deus homo* великолепно изобразил отец Шеню. Традиционному тезису, подхваченному св. Григорием, по которому человек есть случайность творения, эрзац, тупик, созданный Богом лишь с тем, чтобы заменить падших после своего бунта ангелов, Шартр, развивая мысли св. Ансельма, противопоставляет идею человека, согласно которой он изначально входил в план Творца и для него, собственно, был создан мир.

В знаменитом тексте Гонорий Отенский популяризирует этот Шартрский тезис, с самого начала заявляя: *Нет иного авторите-*

та, помимо истины, проверенной разумом; то, чему ради веры учит нас авторитет, разум подтверждает своими доводами. Провозглашенное несомненным авторитетом Писание находит подтверждение рассуждающего разума: даже если б все ангелы остались на небесах, человек все же был бы создан вместе со всем своим потомством. Ибо мир сей был сотворен для человека, а под миром я разумею небо, землю и все то, что содержится во вселенной; и было бы абсурдно верить в то, что если бы все ангелы, сохранились, то он не был бы создан Тем, Кто сотворил всю вселенную.

Подчеркнем по ходу, что, ведя дискуссии об ангелах — даже об их половых признаках, — средневековые богословы почти всегда думали о человеке, и не было ничего более важного для будущего разума, чем эти, казалось бы, пустопорожные дебаты.

Человека шартрцы рассматривают, прежде всего, как рациональное существо. В нем осуществляется активное соединение разума и веры — это одно из фундаментальных положений интеллектуалов XII столетия. Они так интересуются животными, чтобы на их фоне лучше разглядеть человека. Антитеза «животное — человек» является одной из великих метафор века. В римском bestiarii, в пришедшем с Востока гротескном мире, воспроизводимом воображением традиционалистов в их символизме, шартрская школа видит своего рода гуманизм наоборот и постепенно от этого отходит, чтобы вдохновить скульпторов готики и дать им новую модель — человека.

Известно, что привнесли в этот гуманистический рационализм греки и арабы. Пожалуй, нет лучшего примера, чем Аделард Батский, переводчик и философ, много путешествовавший по Испании. Одному традиционалисту, предложившему ему вступить в дискуссию как раз по поводу животных, он отвечает: *Мне трудно обсуждать животных. От моих арабских учителей я научился брать себе в вожаки разум, а ты довольствуешься тем, что идешь на поводке за надуманными авторитетами. А как же еще назвать авторитет, как не поводком? Подобно тому, как водят на поводке глупых животных, а те не ведают, куда и почему, довольствуясь тем, что их тянут за веревку, — так и большинство из вас суть пленники животной доверчивости и дают тащить себя в путях опасных верований, ссылаясь на авторитет того, кто эти верования записал.*

quasi aspidem bonam hinc naturam ut si quando aduenit ma-
 lus ad salutem uel habitant aspidem et percutit eas suis
 carminibus ut creant de carminibus suis. ille ne audiant uo-
 cem incantantis. unaquaeque eorum unam aurem suam pre-
 mit ad terram. aliam uero aurem de cauda obturat. Tales
 sunt istius mundi homines diuites qui unam aurem suam de-
 primunt in terrenis deliciis. alia uero posterioribus partibus suis
 peccata semper addentes obturant uita et ita fit. ut non audi-
 ant uocem incantantis. id est uerbum dei predicantis.

Asiliacus qui a regu de basilico qui a regulus dicitur.
 Huius moribundum quod
 dicitur animal legatur
 cuius flammis omne quod
 haurit sine mora mo-
 retur. Huius etiam de
 seipso uolantes cuius fla-
 mma perficit moribundum
 cadunt et pennas qui
 igni scintillas amittunt.



Hic pascitur cum omnia moribundum. superius amittit
 morte debet. Basilicus mortem designat qui curam suo tac-
 tu aucto sequat. aucto ab abatto placum dilabuntur. quod
 nisi eam morte tacti a uita amittunt. Sic enim patitur quod
 omne quia. in malis humanum genus ad mortem cadit
 et per primum mandatum pertransgressionem per naturam leges uo-
 lantem per scripte legis transgressionem per euangelii des-
 pectum. Hunc basiliscum superat. quia caro christi mortem
 inuenit eum.

И далее: *Ведь именно к аргументам диалектики прибежал Аристотель, когда забавы ради отстаивал перед слушателями ложный тезис с помощью своего софистического мастерства; они же защищали от него истинное. Вот почему прочие искусства могут ступать твердо, пока пользуются услугами диалектики, но без нее спотыкаются и не знают уверенности. Поэтому современные авторы для ведения споров обращаются к самым прославленным в искусстве диалектики...*

Аделард Батский приглашает нас идти еще дальше. Он полагает, что интеллектуалы XII века могли бы извлечь из способностей собственного разума самое существенное из того, что они прикрывали именами Древних и Арабов, чтобы смелее противостоять тем, кто привык к ссылкам на авторитеты, — сколь бы значительны таковые ни были. Вот его признание: *Наше поколение имеет тот укоренившийся недостаток, что оно отказывается признавать все пришедшее от современников. Так, если у меня есть собственная идея, которую я желаю опубликовать, то я приписываю ее кому-нибудь, заявляя при этом: «Это сказано не мною, а таким-то». А чтобы мне полностью поверили, я говорю: «Изобрел это такой-то, а не я». Дабы избежать неприятностей, коли подумают, что де это я, невежда, сам у себя нашел эти идеи, я их уверяю, будто взял таковые у арабов. Мне не хочется, чтобы сказанное мною и не нравящееся остальным умам вело к тому, что не понравлюсь-то им я. Как выглядят настоящие ученые в глазах черни, я знаю. Вот почему я отстаиваю не свое, а арабское.*

Самым новым, таким образом, было то, что наделенный разумом человек мог исследовать и постигать природу, рационально устроенную Творцом. При этом сам человек рассматривается шартрцами как природа, которая совершенным образом вписывается в порядок мира.

Человек-микрокосм

Так ожил и получил глубокий смысл древний образ *человека-микрокосма*. От Бернарда Сильвестрийского к Алану Лилльскому идет развитие аналогии между миром и человеком, между мега-космом и той вселенной в миниатюре, каковая есть человек. Эта концепция революционна, хотя мы находим в ней немало забав-

ного: например, когда в человеческом существе отыскивают четыре элемента, доводя при этом подобные аналогии до абсурда. Концепция побуждает рассматривать человека в целом, начиная с его тела. Большая научная энциклопедия Аделарда Батско-го распространяется на анатомию и физиологию человека. Это движение сопровождает и подкрепляет прогресс в области медицины, гигиены. Человек, которому вернули его тело, подходит к открытию человеческой любви, одному из величайших событий XII века, трагически пережитому Абеяром, которому Дионисий Ружемонтский посвятил свою знаменитую и спорную книгу. Этот человек-микрокосм обнаруживает себя в центре вселенной, которую он воспроизводит, находясь с нею в гармонии. К нему ведут все нити, он пребывает в согласии с миром, ему открыты бесконечные перспективы. Об этом пишут Гонорий Отенский и еще замечательная женщина, аббатиса Хильдегарда Бингенская, которая соединяет новые теории с традиционным монашеским мистицизмом в своих необычных сочинениях *Liber Scivias* и *Liber divinatorum operum*. Исключительное значение имеют миниатюры этих книг, получивших быстро широкую известность. Возьмем хотя бы одну из них, на которой человек-микрокосм предстает обнаженным, а моделью его тела служит любовь. Миниатюра показывает, что гуманизму интеллектуалов XII века не нужно было дожидаться другого Возрождения, чтобы добавить это измерение, в котором эстетический вкус к формам сочетался с любовью к истинным пропорциям.

Последним словом этого гуманизма было, пожалуй, то, что человек, сам являющийся природой и способный постичь природу своим разумом, может также преображать ее своей деятельностью.

Фабрика и homo faber

Интеллектуал XII века, помещенный в центр городского строительства, видит вселенную по образу этой стройки как огромную и шумную фабрику, гудящую множеством ремесел. Метафора стоиков «мир-мастерская» переносится в более динамичную среду, имеющую более действенный характер. Герхх Рейхербер-гский говорит в своей *Liber de aedificio Dei* об этой великой фаб-

рике всего мира, своего рода вселенской мастерской (*ilia magna totius mundi fabrica et quaedam universalis officina*).

На такой стройке человек утверждает себя как мастер, преобразующий и творящий. Заново раскрывается *homo faber*, сотрудник Бога и природы в творении. *Великое деяние*, — говорит Гильом из Конша, — *есть деяние творца, деяние природы или человека-мастера, подражающего природе*.

Так преображается картина человеческого общества. В этой динамичной перспективе, придающей смысл экономическим и социальным структурам века, общество должно включать в себя все человеческие труды. Ранее презируемые, они входят вместе с этой реабилитацией труда в град человеческий, образ града божественного. Иоанн Солсберийский в *Policraticus'e* возвращает в общество сельских тружеников: *работающих в полях, в лугах, в садах; а затем и ремесленников - сукноделов, как и всех прочих, работающих орудиями по дереву, железу, бронзе и иным металлам*. В такой перспективе рушится старая школьная система свободных искусств. Новое обучение должно включать в себя не только новые дисциплины - диалектику, физику, этику, но также научные и ремесленные техники, являющиеся существенной частью человеческой деятельности. Гуго Сен-Викторский в программе обучения, предложенной в *Didascalion*, утверждает эту новую концепцию. Гонорий Отенский развивает ее в своей знаменитой формуле: *невежество — изгнание человека, его отечество — наука*, добавляя при этом, *что началом являются свободные искусства, представляющие собой города-этапы*. Первый город — это грамматика, второй — риторика, третий — диалектика, четвертый — арифметика, пятый — музыка, шестой — геометрия, седьмой — астрономия. В этом он просто следует традиции. Но на этом путь не заканчивается. Восьмым этапом будет физика, *где Гиппократ обучает странников добродетели и природе трав, деревьев, минералов, животных*. Девятым оказывается механика, *где странники обучаются работе с металлами, деревом, мрамором, живописи, скульптуре и ручному ремеслу*. *Здесь Нимрод воздвиг свою башню, а Соломон сконструировал свой храм. Здесь Ной изготовил свой ковчег, обучал искусству фортификации и работе с разными тканями*. Одиннадцатый этап — это экономика. *Сии врата ведут в отечество человека. Тут регулируются состояния и достоинства, различаются обязанности и порядки. Поспешаю-*

щие в свое отечество люди обучаются здесь тому, как подойти к иерархии ангелов согласно порядку собственных заслуг. Так политикой завершается одиссея гуманизма интеллектуалов XII века.

Фигуры

Среди них, даже среди тех, которые учили в Шартре, следует различать личности и темпераменты. Бернард был, прежде всего, профессором, желавшим дать своим ученикам общую культуру и методы мышления посредством солидной *грамматической* подготовки. Бернард Сильвестр и Гильом из Конша были в первую очередь *учеными* — славными представителями наиболее оригинальной тенденции шартрского духа. Они уравнивали тем самым *литературную* склонность этого века, соблазнявшую многие умы. Как говорил Элоизе Абеляр: *Более заботясь об учености, чем о красноречии, я слежу скорее за ясностью изложения, нежели за построением слов, за буквальным смыслом, чем за риторическими украшениями.* Этому принципу следовали переводчики, сторонившиеся языческих красот. *Я ничего не отбросил и ничего заметным образом не изменил в тех материалах, которые вам потребны для возведения вашего замечательного творения, — пишет Роберт Честерский Петру Достопочтенному, — за исключением того, что сделал их более понятными... и я не пытался позолотить низкую и презренную материю.* С другой стороны, Иоанн Солсберийский — это скорее уже гуманист в ставшем для нас обычным смысле слова, он предан культурной утонченности и поиску выразительности. Хотя он и шартрец, он — литератор. И все же он ищет, как сохранить счастливое равновесие. *Как красноречие безрассудно и слепо без света разума, так и наука, не умеющая пользоваться словом, слаба и словно безрука. Люди стали бы скотами, лишившись присущего им красноречия.*

Гильберт Порретанский был, вероятно, самым глубоким метафизиком века. Невзгоды — он стал жертвой нападков и традиционалистов, и св. Бернарда Клервоского — не помешали ему вдохновлять многочисленных учеников (к порретанцам относят Алана Лилльского и Николая Амьенского) и пробуждать усердие как у народа своей епархии в Пуатье, так и у клириков.

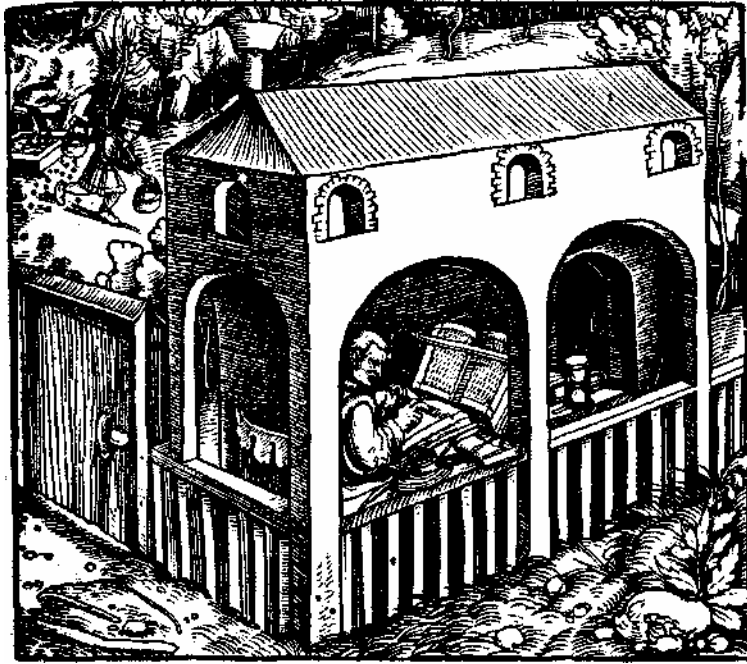
Влияние

В Шартре сформировались первопроходцы. В Париже — после поднятых Абеяром бурь — более умеренные умы стали включать в традиционное церковное образование все то, что можно было заимствовать у новаторов, не вызывая скандала. Этим занимались, прежде всего, епископ Петр Ломбардский и Петр Едок, получивший свое прозвище из-за своего пристрастия к чтению. *Книги сентенций* первого и *Церковная история* второго представляют собой систематические изложения философских истин и исторических фактов, содержащихся в Библии. Они стали первыми базовыми учебниками университетов XIII века. Через них открытиями небольшого числа отважных смогла воспользоваться и масса более осторожных.

Интеллектуал-работник и городская стройка

Этот тип интеллектуала мог развиваться лишь в городских стенах. Его противники, его враги прекрасно видели это и слали одно и то же проклятие городам с их новой разновидностью интеллектуалов. Этьен из Турнэ, *аббат* Сен-Женевьев, в конце века ошеломлен нашествием «disputatio» в теологию: *В нарушение священных установлений, божественных таинств и воплощения Слова ведут публичные споры... Неделимую Троицу режут на части на каждом перекрестке. Сколько докторов, столько заблуждений, сколько аудиторий, столько скандалов, сколько площадей, столько богохульства.* Он называет парижских мэтров торговцами слов (*venditores verborum*).

Так он откликается на сказанное аббатом из Детца, Рупергом, который в начале века, узнав, что над ним насмеются в городских школах, смело покинул свой монастырь и явился к своим врагам в город. Уже тогда он заметил, что на каждом углу ведут дискуссии, и предвидел распространение этого зла. Он напоминает, что строители городов — нечестивцы, поскольку вместо того, чтобы жить на земле, месте, отпущенном нам на краткий срок, они воздвигают и воздвигают новые постройки. Перелистав всю Библию, аббат набрасывает грандиозную антиурбанистическую фреску. После первого города, построенного Каином,



после Иерихона, разрушенного священными трубами Иисуса Навина, он упоминает Енох, Вавилон, Ассур, Ниневию, Библию. Бог, как он говорит, не любит города и горожан. А нынешние города с шумихой пустопорожних споров между мэтрами и школярами — просто воскресшие Содом и Гоморра!

Интеллектуал XII века чувствует свое сходство с мастером, с ремесленником, с другими горожанами. Его задача — изучение и обучение свободным искусствам. Но что такое искусство? Это не наука, а техника. *Ars* есть «*techne*», а специальность профессора в этом смысле не отличается от профессии плотника или кузнеца.

Вслед за Гуго Сен-Викторским Фома Аквинский в следующем веке выведет все следствия из этого положения. *Искусство* представляет собой всякую рациональную и правильную деятельность, примененную для фабрикации как материальных, так и интеллектуальных инструментов; это умная техника, предназначенная для делания. *Ars est recta ratio factibilium*. Таким образом, интеллектуал есть ремесленник. *Среди прочих наук они* [свобод-

ные искусства] называются искусствами, поскольку предполагают не только познание, но также производство, прямо протекающее из разума: таковы функции построения (грамматика), силлогизма (диалектика), речи (риторика), чисел (арифметика), меры (геометрия), мелодий (музыка), расчета движения звезд (астрономия).

В тот день, когда Абеляр, вновь впав в нищету, замечает, что он не способен возделывать землю и что ему стыдно попрошайничать, он возвращается к преподаванию (*scolarum regimen*). Я вернулся к знакомому мне ремеслу, не имея способности работать руками и принужденный работать своим языком.

Исследование и обучение

Как человек ремесла, интеллектуал сознает, что его профессия требует подготовки. Он признает необходимую связь между наукой и преподаванием. Он уже не считает, что знания нужно просто копировать, но убежден в том, что накопленное следует пускать в оборот. Школы суть мастерские, откуда экспортируются идеи, наподобие прочих товаров. На городской стройке профессор в своем стремлении производить подобен ремесленнику и купцу. Абеляр напоминает Элоизе, что филистимляне хранили в тайне свою науку, чтобы прочие не воспользовались ею. *Что касается нас, то обратимся к Исааку, выроем вместе с ним колодезь с живой водой, даже если филистимляне тому препятствуют, даже если они тому противятся, и продолжим копать такие колодезы, дабы о нас тоже могли сказать: «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя» (Притч., 5, 15). И выкопаем так, чтобы колодези на наших площадях переполнились таким избытком вод, дабы наука Писания уже не ограничивалась нами, но чтобы мы и других научили ее пить.* Такова щедрость интеллектуала. Он знает, что первый от этого выиграет. *Если я смог написать эту книгу,— пишет одному из друзей Герман Далмации,— то лишь потому, что в общественных школах должен был защищаться от хитроумных нападков противников.*

Орудия

На великой фабрике, именуемой вселенной, интеллектуал должен найти свое место, то есть пользоваться собственными способностями, применяя их к творческому труду. У него нет иных инструментов, кроме собственного ума, но он может привлекать книги, также служащие для него рабочими орудиями. Насколько далеко мы ушли от раннего средневековья с его устным обучением! Ирод Беррийский заявляет: *Сегодня неграмотные клирики подобны дворянам, не способным к военному делу. Они застывают перед детской книжкой, словно это театральное представление, поскольку не ведают, что книги суть инструменты для клирика, хотя кузнец знает, что сети суть орудия рыбака, а рыбаку ведомо, что наковальня и молот - инструменты кузнеца. Первый не умеет пользоваться искусством второго, но каждый знает, как называются инструменты, несмотря на свое незнание в использовании этой техники...*

Этим ремесленникам духа, вовлеченным в расцветающие города XII столетия, остается лишь организовать внутри корпоративного движения, увенчанного коммунальным движением.

Таковыми корпорациями преподавателей и студентов в строгом смысле слова станут *университеты*. Они будут творением XIII века.



Камень Мира, Болонья



XIII век. Зрелость и ее проблемы

Очертания XIII века

XIII столетие — это век университетов, поскольку он является веком корпораций. В каждом городе, где имеется какое-нибудь ремесло, объединяющее значительное число занятых им, ремесленники организуются для защиты своих интересов и для установления монополии на прибыль. Институциональная фаза городского развития материализует политические

свободы, завоеванные коммунами, а в корпорациях — позиции, достигнутые в экономической области. Эта свобода двусмысленна: независимость она или привилегия? Мы обнаружим эту неоднозначность и в университетской корпорации. Корпоративная организация цементирует то, что уже обеспечено ею. Будучи последствием и санкцией прогресса, она уже выдает одышку, начало упадка. Перечисленное относится и к университетам XIII века — в полном согласии с контекстом столетия. Демографический рост достигает вершины и замедляется; население христианского мира остается статичным. Гигантская волна распашки целины, отвоевавшая земли, необходимые для пропитания возросшего населения, разбивается и останавливается. Созидательный по-

рыв воздвигает сеть новых церквей для христианского мира, построенных в новом духе, но эра возведения великих готических соборов завершается вместе со столетием. Тот же поворот обнаруживается в университетах. В Болонье, Париже, Оксфорде прекращается рост числа студентов и преподавателей, а университетский метод — схоластика — уже не создаст более высоких монументов, чем Суммы Альберта Великого, Александра Галльского, Роджера Бэкона, св. Бонавентуры и св. Фомы.

Отвоевав себе место в городе, интеллектуал оказывается неспособным осуществить выбор будущего перед лицом новых альтернатив. В серии кризисов, кажущихся кризисами роста, но уведомляющих о наступлении зрелости, он уже не может осуществить выбор в пользу обновления. Он укрепляется в социальных структурах и в своих интеллектуальных привычках, он в них вязнет.

Истоки университетских корпораций зачастую так же темны, как и у всех прочих ремесленных цехов. Они организуются постепенно, последовательными завоеваниями, происходящими по тому или иному случайному поводу. Уставы часто санкционируют завоеванное с большим опозданием. Мы не всегда можем сказать, что находящиеся в нашем распоряжении статуты были первыми. В этом нет ничего удивительного. В городах, где они сформировались, университеты являли собой немалую силу числом и качеством своих членов, вызывая беспокойство других сил. Они достигали своей автономии в борьбе то с церковными, то со светскими властями.

Против церковных властей

Сначала начинается борьба с церковными властями. Преподаватели университетов были клириками. Местный епископ считал их своими подданными. Преподавание было функцией церкви. В качестве главы всех школ епископ издавна делегировал свою власть кому-то из помощников, в XII веке именовавшихся обычно *scolasticus* и кого вскоре стали именовать канцлером. Последнему совсем не хотелось расставаться со своей монополией. Там, где эта монополия не была абсолютной, где аббаты достигали прочных позиций со своими школами, они представляли



собой других противников университетской корпорации. В конце концов, культура есть дело веры, а потому епископ притязает на сохранение контроля над нею.

В Париже уже в 1213 году канцлер практически утрачивает привилегию вручать *licence*, то есть право на преподавание. Это право переходит к университетским мэтрам. В 1219 году канцлер в связи с приходом в университет монахов нищенствующих орденов пытается противостоять этому новшеству и при этом теряет все оставшиеся у него прерогативы. В 1301 году он перестает быть даже официальным главой школы. Во время великой забастовки 1229-1231 годов университет выходит из-под юрисдикции епископа.

В Оксфорде епископ удаленного от него на 120 миль Линкольна официально возглавляет университет через своего канцлера, тогда как аббат монастыря Осенэй и приор Фрайдсвайда сохраняют лишь почетные звания. Но вскоре канцлер поглощается университетом, его начинают здесь избирать, и он становится официальным представителем не епископа, но самого университета.

В Болонье ситуация была более сложной. Церковь долгое время не интересовалась преподаванием права, считая его делом мирским. Лишь в 1219 году главой университета становится архидиакон Болоньи, функции которого напоминают функции канцлера (так его иногда и называли). Но его власть была внешней, он довольствовался тем, что председательствовал на защитах и разбирался с оскорблениями, нанесенными членам университета.

Против светских властей

Борьба ведется и против светской власти, прежде всего, против королевской. Суверены хотят наложить свою руку на корпорации, приносящие богатство и престиж их королевствам, на этот питомник, возвращающий для них чиновников и функционеров. Преподаватели университетов живут в городах их королевств, а потому им стремятся навязать свою власть, которая вместе с прогрессом монархической централизации в XIII веке становится вполне ощутимой для их подданных.

В Париже автономность университета была окончательно обретаена после кровавых столкновений студентов с королевской полицией в 1229 году. В одной из стычек несколько студентов были убиты полицейскими. Большая часть университета объявила забастовку и удалилась в Орлеан. На протяжении двух лет в Париже почти не было занятий. Лишь в 1231 году Людовик Святой и Бланка Кастильская торжественно признали независимость университета, возобновили и расширили те привилегии, которые были признаны Филиппом-Августом в 1200 году.

В Оксфорде университет получил свои первые свободы в 1214 годах, воспользовавшись упадком власти отлученного Иоанна Безземельного. Серия конфликтов в 1232, 1238 и 1240 годах между университетом и королем завершилась капитуляцией Генриха III, испуганного поддержкой, оказанной частью университета Симону де Монфору.

Но борьба шла также и с коммунальными властями. Возглавлявшие коммуну буржуа были раздражены тем, что обитатели университетов не подпадали под их юрисдикцию: их беспокоили ночной шум, грабежи, преступления отдельных студентов. Они плохо переносили и то, что преподаватели и студенты ограничи-

вали их экономическую власть, устанавливая твердые цены на жилье и продукты питания, заставляя торговцев совершать свои сделки, не претупая законов.

В Париже королевская полиция грубо вмешалась именно в драку между студентами и буржуа. В Оксфорде первые шаги к независимости университета в 1214 году были следствием того, что в 1209 году отчаявшиеся буржуа без суда повесили двух студентов, подозреваемых в убийстве женщины. Наконец, в Болонье конфликт между университетом и буржуа был еще ожесточеннее, поскольку коммуна вплоть до 1278 года безраздельно правила городом под суверенитетом находившегося вдали от императора (в 1158 году Фридрих Барбаросса самолично даровал привилегии преподавателям и студентам). Коммуна навязывала профессорам пожизненный контракт, делая их своими чиновниками, вмешивалась она и в присуждение степеней. Учреждение архидиаконства ограничило это вмешательство в университетские дела. Ряд конфликтов с последовавшими за ними забастовками, исходом преподавателей и студентов в Виченцу, Арrezzo, Падую, Сиену принудили коммуны пойти на соглашение. Последнее столкновение произошло в 1321 году. Впоследствии университет не страдал более от вторжений коммуны в его дела.

Как сумели университетские корпорации выйти с победой из этих схваток? В первую очередь, благодаря единству и решимости. Они угрожали грозным оружием и действительно его применяли — забастовку и уход. Гражданские и церковные власти видели слишком много преимуществ в наличии университета, который имел большое экономическое значение, был уникальным питомником, возвращающим советников и чиновников, источником немалого престижа, а потому он мог применять подобные средства для своей защиты.

Поддержка папства

и переход под его юрисдикцию

К тому же университеты нашли могущественного защитника — папство. В Париже Целестин III в 1194 году даровал университетской корпорации первые привилегии, а Иннокентий III и Григорий IX утвердили ее автономию. В 1215 году кардинал и папский

легат Роберт де Курсон дал университету первые официальные уставы. В 1231 году Григорий IX осудил парижского епископа за нерадение и принудил короля Франции и его мать пойти на уступки: своей буллой *Parens scientiarum*, которую поминают как *Великую Хартию* университета, он даровал последнему новые статуты. Еще в 1229 году понтифик писал епископу: *Хотя ученый богослов подобен утренней звезде, которая сияет во мраке и должна освещать свое отечество блеском святых, умиротворяя разногласия, ты не довольствовался тем, что пренебрегал своими обязанностями, но, согласно сведениям заслуживающих доверия людей, своими махинациями сам способствовал тому, что поток преподавания свободных искусств, по милости Св. Духа орошавший и оплодотворявший рай вселенской церкви, иссяк в самом своем источнике, то есть в городе Париже, где доселе он бил не переставая. Но затем это преподавание оказалось разбросанным по разным местам и сошло на нет подобно тому, как иссыхает разделившийся на множество рукавов поток.*

В Оксфорде начало независимости университета было — также обеспечено легатом Иннокентия III, кардиналом Николаем Тускуланским. Иннокентий IV выступает против Генриха III и ставит университет *под защиту святого Петра и папы*, поручая епископам Лондона и Солсбери защищать его от происков короля.

В Болонье Гонорий III ставит архидиакона во главе университета, чтобы тот оберегал его от коммуны. Университет окончательно освобождается, когда город в 1278 году признает папу сеньором Болоньи.

Отметим значение такой поддержки со стороны понтифика. Безусловно, святой престол признавал важность и ценность интеллектуальной деятельности; но его вмешательства не были бескорыстными. Выводя университеты из-под светской юрисдикции, он подчинял их церкви. Так, чтобы получить эту решающую помощь, интеллектуалы должны были избрать путь церковной принадлежности — вопреки сильному тяготению к мирскому пути. Если папа освободил преподавателей от контроля местной церкви — да и то не полностью, мы увидим, сколь серьезной была роль епископских осуждений на протяжении этого столетия, — то лишь с тем, чтобы подчинить их папскому престолу, вовлечь в свою политику, навязать им свой контроль и свои цели.

Тем самым интеллектуалы, подобно новым орденам, оказа-

лись в подчинении апостольскому престолу, оберегавшему их для того, чтобы их же приручать. Известно, как эта защита со стороны папы изменила на протяжении XIII века характер и первоначальные цели нищенствующих орденов. Известны, в частности, нерешительность и страдания Франциска Ассизского из-за тех искажений, которые претерпел его орден, все более вовлекаемый в интриги, в насильственное подавление ересей, в римскую политику. То же самое относится к интеллектуалам, к их независимости, к бескорыстному исследовательскому духу и преподаванию. Даже если не брать крайний случай основанного в 1229 году Тулузского университета — по ходатайству папы и для борьбы с ересью, — отныне все университеты идут по тому же пути. Конечно, они обрели независимость от местных властей, зачастую куда более тиранических; они смогли расширять горизонты всего христианского мира светом своей учености, покоряясь власти, которая не раз выказывала широту своих взглядов. Но за эти завоевания им пришлось заплатить дорогой ценой. Интеллектуалы Запада в какой-то степени сделались агентами папского престола.

Внутренние противоречия университетской корпорации

Теперь нам следует бросить взгляд на те особенности университетской корпорации, которые объясняют ее двусмысленное положение в обществе, приводившее к периодическим кризисам ее структуры.

Прежде всего, речь идет о церковной корпорации. Даже если далеко не все ее члены приняли сан, даже если в ее рядах становилось все больше и больше чистейших мирян, все преподаватели были клириками, на которых распространялась юрисдикция церкви, даже более того — Рима. Появившись из движения, носившего светский характер, они принадлежат церкви — даже там, где они пытаются найти институциональный выход из нее.

Корпорация, цели которой *локальны* и которая широко пользуется национальным или местным подъемом (Парижский университет неотделим от роста могущества Капетингов, Оксфорд связан с усилением английской монархии, Болонья пользуется

Сорбонна и ее окрестности (план Бале)



жизненностью итальянских коммун), оказывается в то же самое время *интернациональной*: ее члены, преподаватели и студенты, прибывают из всех стран; она интернациональна и по способу деятельности, ибо наука не знает границ, и по своим горизонтам, поскольку санкционирует *licentia ubique docendi* — право преподавать повсюду, чем и пользуются выпускники крупнейших университетов. В отличие от других корпораций, у нее нет монополии на местном рынке. Ее пространство — весь христианский мир.

Тем самым она выходит за те городские стены, в которых родилась. Даже более того, она вступает в конфликты — иногда жестокие — с горожанами как в экономическом плане, так и в юридическом или политическом.

Поэтому она обречена на службу разным классам и социальным группам. И для всех них она оказывается предательницей: для церкви, для государства, для города она способна сде-

даться «троянским конем». Она не помещается ни в какие классы. *Город Париж*, — пишет в конце века доминиканец Фома Ирландский, — *подобно Афинам разделен на три части: первая из них состоит из торговцев, ремесленников и простонародья, ее называют большим городом; к другой принадлежат благородные, в ней находятся королевский двор и кафедральный собор, ее именуют Сите; третью часть составляют студенты и коллегии, она называется университетом.*

Организация университетской корпорации

Типичной можно считать университетскую корпорацию в Париже. На протяжении XIII века происходило становление как административной, так и профессиональной ее организации. Она состояла из четырех факультетов: *Свободные искусства, Декреты, или Каноническое Право*, — папа Гонорий III запретил факультету преподавать гражданское право в 1219 году, — *Медицина и Теология*. Они образуют соответствующие корпорации внутри университета. *Высшие* три факультета — права, медицины и теологии — управляются титулованными мэтрами, или *регента-ми*, во главе с *деканом*. Факультет искусств, значительно более многочисленный, подразделяется на *нации*. Преподаватели и студенты входят в группы, образуемые по месту рождения. В Париже имелось четыре таких нации: *французская, пикардийская, нормандская и английская*. Во главе каждой из них стоял *прокуратор*, избираемый регентами. Четыре прокуратора были помощниками *ректора*, возглавлявшего факультет искусств.

Тем не менее в университете имелись общие для всех факультетов службы. Но они были сравнительно слабыми, поскольку факультеты не имели большого числа общих проблем. У них не было ни общих зданий, ни общих для всей корпорации земель, исключая площадку для игр за пределами городских стен. Представители всех факультетов и наций собирались в церквях и монастырях, где они были гостями: в церкви св. Юлиана Бедного, у доминиканцев или францисканцев, в капители бернардинцев или цистерцианцев, чаще же всего в трапезной матурианцев. Именно в ней собиралась генеральная ассамблея университета, включавшая в себя и регентов и не-регентов.

Наконец, по ходу века появляется глава всего университета; им становится ректор факультета Искусств. Мы еще вернемся к той эволюции, которая сделала этот факультет *leader* университета. Это преобладание ему обеспечили многочисленность, вдохновлявший его дух, равно как и его финансовая роль. Ректор факультета искусств распоряжался финансами университета и председательствовал на генеральной ассамблее. К концу века он становится признанным главой корпорации. Этого положения он добивается в итоге длительной борьбы между белым и черным духовенством, о которой речь впереди. Но власть ректора все же остается ограниченной временными рамками. Он не только переизбирается, но и исполняет свои функции лишь на протяжении триместра.

С немалым числом вариаций сходную структуру мы находим в других университетах. В Оксфорде вообще не было единого





ректора. Главой университета был *канцлер*, избиравшийся, как мы уже видели, своими коллегами. В 1274 году здесь исчезает система наций. Это объясняется, конечно, региональным характером набора. Нет уже северян (или *Boreales*, включая шотландцев) и южан (или *Australes*, включая галлов и ирландцев), составлявших основные группы.

В Болонье самым оригинальным было то, что профессора не составляли части университета. Университетская корпорация включала в себя только студентов. Мэтры образовывали *коллегию докторов*. По правде говоря, в Болонье было несколько университетов. Каждый факультет образовывал собственную корпорацию. Но над всеми возвышались два юридических университета — гражданского и канонического права. Их влияние росло на протяжении всего века, поскольку эти два организма практически слились в один. Чаще всего их возглавлял один и тот же ректор. Как и в Париже, он выдвигался от наций, система которых в Болонье была довольно сложной и весьма жизненной. Нации группировались в две федерации (цитрамонтанцев и ультрамонтанцев). Каждая из них подразделялась на многочисленные секции с разным числом — до 16 у ультрамонтанцев, — представляемых советников (*consilarii*), игравших значимую роль наряду с ректором.

Могущество университетской корпорации опиралось на три главные привилегии: автономную юрисдикцию (в рамках церкви —



при наличии местных ограничений, но с правом обратиться к папе), право на забастовку и уход, монополию на присвоение университетских степеней.

Организация учебы

Университетские статуты регулировали также организацию учебы. Они определяли ее длительность, программы курса, условия проведения экзаменов.

Сведения относительно возраста студентов и длительности учебы, к сожалению, не точны и зачастую противоречивы. Они менялись в зависимости от места и времени, а будучи разбросанными то тут, то там, показывают, что практика нередко далеко отходила от теории.

В каком возрасте и с каким интеллектуальным багажом поступали в университет? Конечно, очень молодыми, и здесь мы сталкиваемся с проблемой: являлись ли грамматические школы частью университета, предшествовало ли первичное обучение поступлению в университет или же оно было, как полагает Иштван Хайналь, одной из важнейших его функций? С уверенностью можно сказать, что Средние века слабо различали уровни образования, а средневековые университеты не были учреждениями одного лишь высшего образования. Отчасти там практиковалось

наше начальное и среднее образование (либо они находились под университетским контролем). Система *коллежей* (о них речь пойдет далее) только способствовала этой путанице, поскольку учиться в них могли с 8 лет.

Можно сказать, что в целом базовое университетское образование, а именно изучение *свободных искусств*, длилось 6 лет и получали его где-то между 14 и 20 годами. В Париже это предписывалось статутами Роберта де Курсона и включало в себя два этапа: примерно за 2 года получали степень *бакалавра*, а к концу учебы — степень *доктора*. Затем происходило обучение медицине и праву — приблизительно между 20 и 25 годами. Первые статуты медицинского факультета предписывали 6 лет учебы для обретения степени лиценциата или доктора медицины уже после того, как студенты становились магистрами искусств. Наконец, богословие требовало большего времени: статуты Роберта де Курсона назначали 8 лет обучения и, как минимум, 35 лет для получения звания доктора теологии. В действительности богословию учились примерно 15-16 лет. Простой слушатель на протяжении первых шести лет должен был проходить одну ступень за другой; в частности, на протяжении 4 лет изъяснять Библию и еще 2 года *Сентенции* Петра Ломбардского.

Программы

Поскольку учеба в основном сводилась к комментированию текстов, то статуты указывают на труды, которые включались в университетскую программу. Авторы здесь также меняются в зависимости от места и времени. На факультете свободных искусств преобладают логика и диалектика, по крайней мере в Париже, где комментируется почти весь Аристотель, тогда как в Болонье он представлен только в отрывках, зато программы уделяют большее внимание риторике, в том числе *De Inventione* Цицерона и *Риторике* к *Гереннию*, а также математическим и астрономическим наукам, включая Эвклида и Птолемея. Для изучавших право основным учебником *был Декрет* Грациана. В Болонье к нему прибавляли *Декреталии Григория IX, Клементины* и *Экстраваганции*. В области гражданского права комментировали Пандекты, разделенные на три части: *Digestum Vetus*,

Infortiatum и *Digestum Novum*, а также Кодекс и сборник трактатов, именуемый *Volumen* или *Volumen Parvum*, включающий в себя *Institutiones* и *Authentica* (то есть латинский перевод новелл Юстиниана). В Болонье к этому добавляли свод ломбардских законов — *Liber Feodorum*. Медицинский факультет опирался на *Ars Medicinae*, свод текстов, объединенных в XI в. Константином Африканским, содержащий труды Гиппократ и Галена. Позже к ним были прибавлены великие Суммы арабов: *Канон* Авиценны, *Colliget или Correctorium* Аверроэса, *Альманзор* Разеса. Богословы прибавляли к Библии в качестве основополагающих текстов *Книги сентенций* Петра Ломбардского и *Historia Scholastica* Петра Едока.

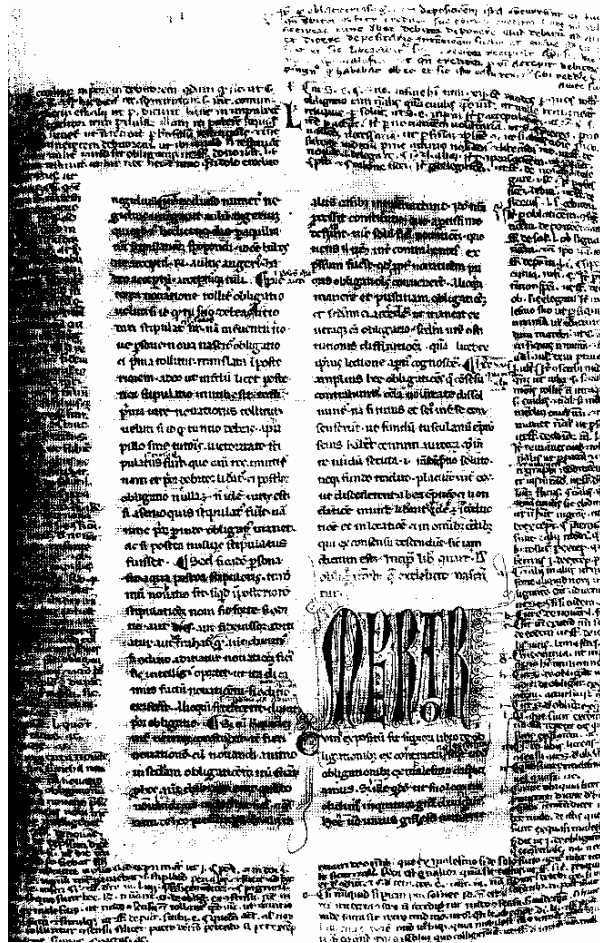
Экзамены

Наконец, регламентации подлежали экзамены на получение степени. Здесь у каждого университета также имелись свои обычаи, которые изменялись со временем. Возьмем в качестве примера два типичных *curriculum* — юриста из Болоньи и парижского *артиста*.

Новоиспеченный болонский доктор получал свою степень в два этапа: собственно экзамен (*examen или examen privatum*) и публичный экзамен (*conventus, conventuspublicus, doctoratus*), представлявший собой скорее церемонию вступления в должность.

Незадолго до личного экзамена *consiliarius* нации, к которой принадлежал кандидат, представлял его ректору. Кандидат клятвенно заверял последнего, что исполнил все, что требуется уставами, и не пытался подкупить своих экзаменаторов. В предшествующую экзамену неделю один из мэтров представлял его архидакону, ручаясь за его способность выдержать проверку. Утром в день экзамена кандидат, прослушав мессу Св. Духа, предстал перед коллегией докторов, один из которых давал ему два отрывка для комментирования. Он удалялся к себе, чтобы подготовить комментарий, который зачитывался вечером в общественном месте (чаще всего в соборе) перед жюри из докторов, в присутствии архидакона, который, однако, не имел права вмешиваться. Вслед за комментарием он отвечал на вопросы докторов, которые затем удалялись для голосования. Решение

Император Юстиниан. Свод гражданского права с толкованием Аккурсия



принималось большинством голосов, архидиакон сообщал о результате.



Сдав этот экзамен, кандидат становился лицензиатом, но еще не получал докторского звания и права на преподавание: для этого требовалось пройти публичный экзамен. С помпой кандидата сопровождали в собор, где он произносил речь и зачитывал тезисы о каком-нибудь из правовых положений, а затем защищал их от нападавших на него студентов. Тем самым он впервые играл роль мэтра на университетском диспуте. После этого архидиакон торжественно вручал ему лицензию, дающую право преподавать и соответствующие знаки отличия: кафедру, раскрытую книгу, золотое кольцо, судейскую шапочку или берет.

От юного парижского *артиста* требовалось получение предварительной степени. Трудно утверждать с полной уверенностью, но вероятнее всего она была итогом первого экзамена, *determinatio*, в результате которого студент становился бакалавром. *Determinatio* предшествовали еще два экзамена. Сначала кандидат должен был выдержать дискуссию с мэтром во время *responsiones*. Дебаты происходили в декабре перед постом (во время которого происходил экзамен). Если кандидат успешно проходил эту проверку, то его допускали к *examen determinatum* или

baccalariandorum, где он должен был доказать, что удовлетворяет требованиям статута, и продемонстрировать знания текстов, включенных в программу авторов, отвечая на вопросы жюри мэтров. Вслед за этим следовало *determinatio*: во время поста он читал ряд курсов, чтобы показать свою способность к университетской карьере.

Вторым этапом был собственно экзамен, который давал лицензию и степень доктора. Он также подразделялся на несколько этапов. Самый важный из них заключался в серии комментариев и ответов на вопросы перед жюри из четырех мэтров под председательством канцлера или вице-канцлера. Несколькими днями позже канцлер торжественно вручал кандидату лицензию во время церемонии, включавшей в себя лекцию (*collatio*), которую тот должен был прочесть, но она была чистой формальностью. Примерно через полгода кандидат действительно становился доктором во время *inceptio*, соответствующего болонскому *conventus*. Накануне этого дня он принимал участие в торжественной дискуссии, получившей название *вечерни*. В день *inceptio* он произносил перед факультетом инаугуральную речь, после чего ему вручались знаки отличия, соответствующие его степени.

Наконец, университетские статуты включали в себя целый ряд положений, которые, по примеру других корпораций, определяли моральный и религиозный климат университетской корпорации.

Моральный и религиозный климат

Статуты предписывали — и одновременно ограничивали — проведение празднеств и коллективных развлечений. Экзамены сопровождалась подарками, увеселениями и банкетами — за счет получившего степень, которые укрепляли духовное единство группы, принимавшей в свое лоно нового члена. Как и попойки, *potaciones* первых гильдий, эти празднества представляли собой ритуалы, посредством которых корпорация утверждала сознание своей глубокой солидарности. Во время этих увеселений, в которые каждая страна приносила свои особенности (балы в Италии, бой быков в Испании), о себе заявляло единое племя интеллектуалов.

Добавим к ним ритуалы посвящения, которые не имели официального статуса, но которые ждали каждого нового студента университета, — новичка, первокурсника, именовавшегося тогда птенцом, молокососом (*bejaune*). Тексты по этому поводу известны нам по любопытному документу последующей эпохи, *Manuale Scolarium* конца XV века, по которому мы можем проследить далекие истоки этих студенческих обычаев. Инициация новичка описывается как церемония «чистилища», предназначенная для того, чтобы очистить юношу от его деревенской неотесанности, даже от первобытной дикости. Насмешке подлежат его звериный запах, блуждающий взгляд, его длинные уши, оскаленные зубы. Его избавляют от предполагаемых рогов и наростов. Его моют, ему подпиливают зубы. В пародийной исповеди он признается в своей невероятной греховности. Так будущий интеллектуал покидает свое первобытное состояние, которое весьма напоминает образ крестьянина, деревенщины в сатирической литературе эпохи. От животности он переходит к человечности, от сельского мира к городскому. Эти выродившиеся и почти лишенные первоначального содержания церемонии напоминают интеллектуалу, что он вырван из деревни, из сельской цивилизации, дикого мира земли. Антропологу есть, что сказать по поводу психоанализа клириков.

Университетское благочестие

Наконец, статуты определяли благочестивые труды, благотворительную деятельность, которую должна была осуществлять университетская корпорация. Уставы требовали от ее членов присутствия на некоторых религиозных службах, участия в процессиях и молебнах.

Прежде всего, это касалось поклонения святым заступникам, в первую очередь св. Николаю, покровителю студентов, святым Косме и Дамиану, покровителям врачей, а также некоторым другим. В образах университетского мира мы обнаруживаем корпоративную тенденцию: священное сливается с мирским, с собственным ремеслом. Иисуса помещают среди докторов, святых представляют в одежаниях профессоров и магистров.

Университетская набожность вписывается в картину вели-

ких духовных движений того времени. В статутах парижского коллежа XIV века *Ave Maria* мы видим роль мэтров и студентов в расцветающей евхаристической набожности, их участие в процессиях *Corpus Christi*.

В религии интеллектуалов заметна общая духовная тенденция, берущая начало в XIII веке: влиться в профессиональные группы городского мира. Профессиональная мораль становится одной из привилегированных областей религии. Учебники исповедников, озабоченных приспособлением к специфической деятельности социальных групп, регламентируют исповеди и покаяния в соответствии с профессиональными категориями и классами, определяют грехи крестьян, купцов, ремесленников, судей и т. д. Особое внимание в них уделяется грехам интеллектуалов, университетских преподавателей.

Но религия клириков не довольствуется одним лишь следованием благочестивым устремлениям века. Зачастую она желает направлять их или занять среди них свое собственное место. С этой точки зрения представляет интерес почитание Девы Марии среди интеллектуалов. Оно было очень живым. С начала XIII века в университетской среде получают хождение поэмы и молитвы, специально посвященные Деве. Самым знаменитым был сборник *Stella* Маш, составленный парижским мэтром Иоанном Гар-ландским. Нет ничего удивительного в том, что эта набожность привносит женское начало в среду, которая, несмотря на наследие голиардов, была сообществом мужчин, давших обет безбрачия. Но у интеллектуалов поклонение Деве Марии имело ряд особенностей. Оно всегда было насыщено богословскими темами, страстные дискуссии велись по поводу ее непорочного зачатия. Горячим сторонником последнего был Дуне Скот, а оппозицию ему по догматическим мотивам мы находим у Фомы Аквинского, следовавшего в этом за великим почитателем Девы, каковым был в предшествующем веке Бернард Клервоский. Кажется, что интеллектуалы желали сохранить в этом культе его интеллектуальное содержание. Им не хотелось, чтобы набожность становилась слишком аффективной, они стремились к равновесию между устремлениями духа и сердца. В предисловии к *Stella Maris* Иоанн Гарландский со всей наивностью выдает эти намерения: Я собрал в этой книге чудеса Девы, взятые из рассказов, обнаруженных мною в библиотеке се. Женевьевы. Я обратил их в стихи,

чтобы мои ученики в Париже получили живой пример... Материальной причиной стали для меня чудеса преславной Девы. Нояучел также факты, коими интересуются физика, астрономия и теология... Конечной целью остается непрестанная вера во Христа. А она предполагает теологию и даже физику с астрономией. Как мы можем судить по этой *Звезде Моря*, университетские интеллектуалы хотели, чтобы она светила также светом науки.

Инструментарий

Как и положено ремесленнику, член университетской корпорации XIII века был вооружен полным набором инструментов. В качестве писателя, лектора, профессора он окружает себя необ-

Комната студента



ходимыми для его деятельности орудиями. Мы читаем об этом в Словаре парижского мэтра Иоанна Гарландского: *Вот необходимые клирику инструменты: книги, пюпитр, ночная лампа с сальником и подсвечник, фонарь, воронка с чернилами, перо, отвес и линейка, стол, ферула, кафедра, черная доска, скребок из пемзы, мел. Пюпитр (pulpitum) называется по-французски lutrin (letrum); стоит заметить, что пюпитр снабжен градуированным подъемником, позволяющим поднимать книгу на необходимую для чтения высоту, ибо на пюпитр кладут книги. Скребок (plana) именуется железный инструмент, с помощью которого пергаменты-ки подготавливают пергамент.*

Были обнаружены и другие инструменты, которые, если и не использовались каждым клириком, то составляли часть инструментария его помощников, например копиистов. А именно, прикрепленные к пергаменту ручка и рулетка, позволявшие найти то место, на котором остановился переписчик.

Как специалист, интеллектual нагружен всем этим багажом, отдаляющим его от клирика раннего средневековья: устное преподавание требовало от того лишь немногих принадлежностей для переписывания редких манускриптов, да и техника такого переписывания принимала во внимание в первую очередь эстетические соображения.

Если устные занятия остаются основой основ университетской жизни, то книга уже стала фундаментом образования. Принимая во внимание весь этот обременяющий интеллектuala багаж, становится понятным, почему Франциск Ассизский, апостол безыскусной строгости, был — помимо всех прочих причин — враждебно настроен к этой деятельности, требовавшей все больше и больше материального оборудования.

Книга как инструмент

Университетская книга представляет собой иной объект, нежели книга раннего средневековья. Она связана с совершенно новым техническим, социальным и экономическим контекстом. Она является выражением другой цивилизации. Меняется само письмо, приспособляясь к новым условиям, как точно заметил Анри Пиренн:

Скоропись соответствует цивилизации, в которой письменность стала неотъемлемой частью жизни как общества, так и индивидов; минускул (каролингской эпохи) представляет собой каллиграфию класса образованных, коим ограничивается грамотность и в котором она воспроизводится. Очень важно отметить, что скоропись вновь появляется наряду с минускулом в первой половине XIII века, то есть именно в ту эпоху, когда социальный прогресс, развитие экономики и светской культуры вновь сделали общераспространенной потребность в умении писать. В своей превосходной работе отец Дестре¹ показал весь размах той революции, которая происходила в XIII столетии в области книжной техники. Эта революция разыгрывалась на сцене университетской мастерской.

Преподаватели и студенты должны были читать включенных в программу авторов, требовалось сохранять курсы лекций профессоров. Студенты их конспектировали, и до нас дошло некоторое число таких записей (*relationes*). Более того, эти курсы нужно было быстро распространять, чтобы с ними можно было сверяться во время экзамена. Это означало, что они должны были производиться не в единственном экземпляре. Основой такой работы было то, что получило название *pecia*. Зачитаем описание о. Дестре: *Первая официальная копия сочинения, которое хотели пустить в обращение, изготавливалась в тетрадах по четыре страницы каждая. Такая тетрадь делалась из овечьей кожи, сложенной вчетверо, и называлась пьесой, pecia. Благодаря этим пьесам, передаваемым от одного переписчика другому и составлявшим при их соединении то, что называлось exemplar, времени, необходимого одному переписчику для изготовления одной копии книги в шестьдесят пьес, стало достаточно для того, чтобы, сорок писцов могли переписать текст. Это делалось под контролем университета, и текст становился своего рода официальным.*

Возможность распространять официальные тексты курсов лекций имела огромное значение для университетов. Статуты 1264 года Падуанского университета провозглашали это следующим образом: *без экземпляров не было бы и университета.*

Рост интенсивности в использовании книг преподавателями и студентами повлек за собой целый ряд последствий. Прогресс

¹ La pecia dans les manuscrits du XIII-e et du XIV-e s., 1935.

в обработке пергамента позволял получать листы меньшей толщины, более гибкие и не такие желтые, как у прежних манускриптов. В Италии, где техника развивалась быстрее, листы получались очень тонкими и удивительной белизны.

Изменился и формат книги. Ранее это были фолианты, которые *годились только для рукописей, создаваемых в аббатствах, где они и должны были оставаться*. Позднее к книге стали часто обращаться, перевозить с места на место. Ее формат уменьшается, ею удобнее пользоваться.

Более скорый готический минускул заменяет прежние буквы. Он имеет различные варианты в зависимости от университетского центра: существуют парижский, английский, болонский минускулы. Он также соответствует прогрессу техники: на место тростинки приходит птичье перо, чаще всего гусиное, что способствует *большей легкости и скорости работы*.

Уменьшается орнамент — литеры и миниатюры теперь делаются серийно. Если юридические манускрипты зачастую остаются роскошными — юристы принадлежали в основном к классу богатых, — то книги чаще всего бедных философов и богословов лишь изредка снабжались миниатюрами. Порой переписчик оставлял свободное место для литер и миниатюр, чтобы скромный покупатель мог приобрести рукопись как таковую, тогда как богатый имел возможность заказать рисунки и тем самым заполнить пустоты.

К этим важным деталям можно прибавить обилие сокращений (производить нужно быстро), прогресс в нумерации, рубрикации, составлении оглавлений, списков

Johes tortellis



Sanctus Augustinus



cellarius parisi



Sanctus Hieronimus



сокращений, представлении материалов в алфавитном порядке там, где это было возможно. Все это делалось для облегчения работы с книгой. Развитие интеллектуального ремесла произвело эру учебников (*manuales*), то есть книг, которыми манипулируют, которые часто держат в руках. Это свидетельствует о необычайном ускорении оборота книг, широком распространении письменной культуры. Первая революция свершилась — книга уже более не является предметом роскоши, она стала инструментом. Речь идет не столько о возрождении чего-то, бывшего раньше, но о рождении нового — этапа на пути к печатному станку. В качестве инструмента книга сделалась промышленным продуктом и предметом торговли. Под сенью университетов появляется множество переписчиков — чаще всего ими были бедные студенты, зарабатывавшие таким образом хлеб насущный, — и библиотекарей (*stationarii*). Они стали неотъемлемой частью университета и с полным на то

правом считались его работниками, пользуясь теми же привилегиями, что и преподаватели со студентами; на них распространялась юрисдикция университета. Тем самым росла численность членов корпорации, распространявшейся на целый ряд вспомогательных ремесел. У интеллектуальной индустрии имеются собственные сопутствующие отрасли. Иные из этих производителей и торговцев становились влиятельными лицами. Рядом с «ремесленниками, чья деятельность сводилась к перепродаже нескольких подержанных книг», появляются другие, «чья роль возрастала до положения международного издателя».

Метод: схоластика

Наряду с инструментарием техник-интеллектуал обладал собственным методом — схоластикой. Известные ученые, прежде всего Грабман, поведали нам о возникновении и истории схоластики. Отец Шенно в своем *Введении в исследование Фомы Аквин-ского* дал блестящее ее изложение. Схоластика стала жертвой светских очернений, в нее трудно проникнуть без соответствующей подготовки, да и техническая ее сторона может отгаликивать. Попробуем дать самое общее ее описание. Путеводной нитью нам послужат слова отца Шенно: *Мышление есть ремесло, законы которого зафиксированы самым тщательным образом.*

Словарь

Прежде всего, законы языка. Знаменитые контроверзы между реалистами и номиналистами заполняли средневековую мысль именно потому, что интеллектуалы той эпохи придавали словам истинную силу и их заботило определение содержания слов. Для них было существенно знание отношений и между словом, понятием и бытием. Такое знание по сути своей противоположно тому пустословию, в котором часто обвиняли схоластику, хотя она впадала в словесные игры, иногда — в XIII веке и довольно часто — в более поздние времена. Мыслители и профессора Средних веков желали знать, о чем они говорят. Схоластика строилась на фундаменте грамматики. Схоласты были наследниками Бернарда Шартрского и Абеляра.

Диалектика

Затем следуют законы доказательства. Вторым этажом схоластики является диалектика, то есть совокупность процедур, которые делают проблемой объект познания, раскрывают его, защищают от нападков оппонентов, распутывают, убеждают слушателя или читателя. Опасность представляют пустые рассуждения — уже не вербализация, а пустословие. Диалектике следует придать содержательность не только слов, но и действенной мысли.

Университетские профессора были наследниками Иоанна Солсберийского, который говорил: *Логика сама по себе бескровна и бесплодна, она не родит мысли, если не зачнет ее где-то на стороне.*

Авторитет

Схоластика питается текстами. Она представляет собой метод авторитета, она опирается на двойную поддержку предшествующих цивилизаций — на христианство и античную мысль, обогащенную, как мы видели, ответвлением арабской мысли. Схоластика — плод определенного времени, возрождения. Она впитывает в себя прошлое западной цивилизации. Библия, сочинения отцов церкви, Платона, Аристотеля, арабов — вот исходные данные, материалы для творчества. От интеллектуалов XII века схоласты унаследовали обостренное чувство необходимости и неизбежности прогресса истории и мысли. Пользуясь этими материалами, они строят собственное здание. На фундаменте возводятся новые этажи, появляются оригинальные пристройки. Вслед за Бернардом Шартрским схоласты взбираются на плечи древних, чтобы видеть дальше. *Мы никогда не найдем истины,* — говорит Гильберт из Турнэ, — *если удовлетворимся уже отысканным... Писавшие до нас — нам не господа или вожатые. Истина открыта всем, ею полностью еще никто не владел.* Таков изумительный порыв интеллектуального оптимизма, противостоящий печальному выводу: *все уже сказано, мы пришли слишком поздно...*

Разум: теология как наука

Итак, законы подражания схоластика соединяет с законами разума, предписания авторитета с аргументами науки. Более того, теология взывает к разуму, она становится наукой — в этом проявляется решительный прогресс века. Схоласты развивают подразумеваемое Писанием приглашение, побуждающее верующего постичь свою веру разумом: *Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением* (1 Пет. 3, 15). Они отвечают на призыв апостола Павла, для которого *вера есть уверенность в невидимом*

(argumentum non apparentium) (Евр. 11, 1). После Гильома Овернского, новатора в этой области, и вплоть до св. Фомы, давшего богословской науке самое строгое изложение, схоласты прибегают к богословскому разуму — разуму, просветленному верой (*ratio fide illustrata*). Глубокая формула Ансельма — *верую, чтобы понимать (fides quaerens intellectus)*, — проясняется, когда Фома Аквинский возводит ее в принцип: *благодать природе не упраздняет, а завершает (gratia non tollit naturam sed perficit)*.

Нет ничего более далекого от обскурантизма, чем схоластика, для которой рассудок находит свое завершение в разуме, чьи проблески возвышаются до света.

Имея такое основание, схоластика конструировалась в университетской работе, следуя собственным методам.

Упражнения: *quaestio, disputatio, quodlibet*

Фундаментом служит комментарий к тексту, *lectio*. Это — глубокий его анализ, начинающийся с разбора грамматики, дающего букву (*littera*), возвышающийся затем до логического анализа, приносящего смысл (*sensus*), и завершающийся экзегезой, открывающей научное и идейное содержание мысли (*sententia*).

Но комментарий рождает дискуссию. Диалектика позволяет превзойти понимание текста, чтобы обратиться к поднятым в нем проблемам; изучение фактов освобождает место поиску истины. Экзегеза сменяется множеством проблем. Согласно установленным процедурам, *lectio* развивается в *quaestio*. Университетский интеллектуал рождается в то мгновение, когда он «ставит под вопрос» текст, остающийся для него теперь только опорой, когда от пассивности он переходит к активности. Мэтр является уже не экзегетом, но мыслителем. Он предлагает решения проблем, он сам их дает. Результатом *quaestio* становится *determinatio* — произведение его собственной мысли.

В XIII веке *quaestio* отходит от всякого текста. Оно существует само по себе. При активном участии преподавателей и студентов оно превращается в предмет дискуссии, становится *disputatio*.

Отец Мандонне¹ дал классическое описание диспута: *Когда один из мэтров начинал диспут, прекращались все лекции, кото-*

¹ Revue Thomiste, 1928, p. 267-

рые читали в то утро мэтры и бакалавры факультета. Только сам этот мэтр перед началом диспута читал короткую лекцию, чтобы дать время собраться его ассистентам; затем начинался диспут. Он занимал значительную часть утра. Все бакалавры факультета и ученики мэтра, который вел диспут, должны были присутствовать при этом упражнении. Прочие мэтры и студенты, видимо, свободно решали сами, приходить им или нет, но не вызывает сомнений то, что они являлись в большем или меньшем числе в зависимости от репутации мэтра и темы дискуссии. Парижское духовенство, равно как и прелаты с прочими церковнослужителями, проездом находившиеся в столице, охотно посещали эти будоражившие умы поединки. Диспут был турниром для клириков.

Предлагаемый к обсуждению вопрос утверждался заранее тем мэтром, который должен был вести диспут. Тема и день диспута объявлялись в других школах факультета...

Диспут происходил под руководством мэтра, но не он, собственно говоря, диспутировал. Это делал его бакалавр, который занимал место отвечающего на возражения, осваивая тем самым эти приемы. Возражения обычно представлялись в обратном порядке: сначала присутствующими мэтрами, затем бакалаврами и, наконец, студентами, если у них таковые имелись. Бакалавр отвечал на предъявляемые аргументы, при необходимости вмешивался сам мэтр. Таков был обиходный вид обычного диспута; но это была лишь первая его часть, хотя главная и самая оживленная.

Выдвинутые во время диспута возражения и ответы на них не обладали неким предустановленным порядком. С точки зрения доктринальной этот неупорядоченный материал напоминал, скорее, развалины после боя, нежели подготовленные для постройки материалы. Поэтому за этим первым сеансом следовал второй, называвшийся магистральным определением.

В первый учебный день, то есть в тот день, когда открывший диспут мэтр мог прочитать лекцию, поскольку воскресенье, праздничный день или какое-нибудь другое препятствие могли ему помешать выступить сразу же, на следующий день мэтр возвращался к теме, обсуждавшейся в его школе ранее. Насколько ему позволял материал обсуждения, он приводил в логический порядок выдвинутые против него возражения, придавал им законченную формулировку. За возражениями следовали аргументы в пользу



предложенного им учения. Затем он переходил к доктринальному разъяснению, которое в большей или меньшей степени проистекало из обсуждавшегося вопроса. Именно оно составляло центральную и важнейшую часть второго сеанса, determinatio. Он завершал диспут ответами на каждое из возражений против выдвинутых тезисов...

Акт determinatio, записанный мэтром или одним из слушателей, был конечной целью диспута.

Вот в какой обстановке получал развитие особый жанр: диспут *quodlibet*. Дважды в год мэтры могли занимать кафедру, предлагая рассматривать проблему, поставленную кем угодно и по какому угодно поводу (*de quodlibet ad voluntatem cuiuslibet*). Отец Глорье¹ описал это упражнение следующим образом:

Представление начиналось от трех до шести утра, во всяком случае, очень рано, поскольку диспут мог продлиться очень долго. Для него были характерны причудливость, импровизация, неопределенность. Во время самого диспута аргументы не отличались от всех прочих, но его особенностью было то, что инициатива принадлежала не самому мэтру, а его ассистентам. При обычном диспуте мэтр заранее объявлял о занимающих его предметах, он размышлял над ними и готовился к их обсуждению. Во время диспута quodlibet кто угодно мог поднять какую угодно проблему.

¹ La litterature quodlibetique, 1936.



Это представляло немалую опасность для принимавшего вызов мэтра. Вопросы или возражения могли выдвигаться со всех сторон: они могли быть враждебными, курьезными, мудреными, какими угодно. Отвечающего могли спрашивать искренне, чтобы узнать его мнение; но могли попытаться запутать в противоречиях, могли принудить высказаться по рискованным темам, о коих он предпочел бы молчать. Иной раз его расспрашивал любопытствующий чужестранец или беспокойный ум; часто — ревнивый соперник или пытливый мэтр, пытающийся поставить испытуемого в затруднительное положение. Иногда темы были интересными и ясными, иной раз вопросы были двусмысленными, и мэтру было не просто в точности уловить их истинный смысл. Одни слушатели чистосердечно ограничивались чисто интеллектуальной сферой; другие пытались вытянуть из него задние мысли о политике или желали его очернить... Тому, кто решался вести такой диспут, следовало обладать незаурядным умом и почти универсальной компетентностью.

Так развивалась схоластика, учительница строгости, вдохновительница оригинальной мысли, подчиняющейся законам разума. Она оставила свой неизгладимый след в западном мышлении, которое благодаря ей совершило один из решающих шагов вперед. Конечно, речь идет о схолистике XIII века, периоде ее зрелости, когда она направлялась острыми, требовательными и

пылкими умами. Пламенеющая схоластика конца средневековья могла вызывать обоснованное презрение Эразма, Лютера или Рабле. Барочная схоластика возбуждала законную неприязнь Мальбранша. Но дух и обычаи схоластики вошли в последующее развитие западной мысли. Как бы то ни было, ей многим обязан Декарт. В заключение своей глубокой книги Этьен Жильсон написал: *Невозможно понять картезианство, не сопоставляя его постоянно с той схоластикой, которой оно пренебрегало, в лоне которой оно возникло и которой оно, можно сказать, питалось, поскольку ее ассимилировало.*

Противоречия: как жить? Плата или бенефиций?

Однако при всем этом вооружении интеллектуал XIII века сталкивался с множеством неясностей перед лицом нелегкого выбора. Противоречия заявляли о себе по ходу следовавших один за другим университетских кризисов.

В первую очередь возникали проблемы материального порядка. Они весьма занимали интеллектуала.

Вопрос первый: как жить? С того момента, как интеллектуал перестал быть монахом на содержании общины, он должен был зарабатывать себе на жизнь. В городах проблемы питания и жилья, одежды и оснащения — книги стоили дорого — были мучительны. Отныне студенческое поприще обходилось тем дороже, чем дольше длилось обучение.

Имелось два решения этой проблемы: плата или бенефиций для мэтра, стипендия или пребенда для студента. Оплата могла осуществляться в двух формах: мэтру платили либо его ученики, либо гражданские власти. Стипендия могла быть лично дарована меценатом или же быть дотацией общественного органа или представителя политической власти.

За этими решениями стояли расходящиеся в разные стороны обязательства. Первым фундаментальным выбором был выбор между платой и бенефицием. В первом случае интеллектуал решительно утверждал себя как работника, как производителя. Во втором случае он жил не плодами своей деятельности, но мог заниматься ею, поскольку являлся рантье. Тем самым должен

был определится его социально-экономический статус: быть ему тружеником или привилегированным?

За этим первым выбором вырисовывались другие — меньшей значимости, но тоже немаловажные.

В том случае, если он принимал плату, он мог быть торговцем (если платили ученики), чиновником (если его труды возмещали коммунальные власти или правитель) или своего рода прислугой (если он жил за счет щедрости какого-нибудь мецената).

Будучи пребендарием, он мог получать бенефиций в зависимости от закрепленной за ним интеллектуальной функции, что делало его специализированным клириком. Либо он мог получить бенефиций, который числился за другой пастырской обязанностью, кюре или аббата, и тогда он был интеллектуалом лишь по случаю, даже вопреки своей церковной должности.

С XII века выбор зависел от обстоятельств места и времени, от положения и психологии данного индивида.

Но можно выявить некоторые тенденции. Мэтры были склонны жить на деньги, которые платили им ученики. Принимая такое решение, они обладали преимуществом оставаться свободными по отношению к светской власти: к коммуне, князю, церкви и даже меценату. Это казалось им естественным, поскольку в наибольшей мере отвечало обычаям той городской стройки, членами которой они себя считали. Они продавали свою науку и образованность подобно ремесленникам, торгующим продуктами своего труда, и подкрепляли торговлю требованиями соответствующих законов, чему мы находим многочисленные свидетельства. Главное из них заключается в том, что всякий труд заслуживает оплаты. Это утверждалось в учебниках для исповедников: *мэтр может принимать деньги от студентов — collecta — по цене его труда, его усилий*. Об этом часто напоминают университетские преподаватели, как, например, доктора права в Падуе в 1382 году: *Мы полагаем, что неразумно работать, не получая от своего труда прибýtка. А потому мы предписываем, чтобы доктор, принявший от имени факультета учащегося, получал от последнего в признание своих трудов три штуки материи и четыре фляги вина, либо один дукат*. Поэтому мэтры преследовали неисправно плативших студентов. Знаменитый юрист из Болоньи Одофредус писал: *Я заявляю, что на будущий год буду читать обязательный курс на совесть, как я это делал всегда; но я*

сомневаюсь в том, что стану читать дополнительные курсы, поскольку студенты платят неисправно; они желают знать, но не желают платить, следуя известной поговорке: «Знаний-то все хотят, но никто не хочет платить за них».

Что касается студентов, то, — если судить по их письмам, будь они подлинными или нет, например, в пособиях по составлению писем, — они хотели, чтобы их содержала либо их семья, либо какой-нибудь благодетель.

Церковь и в особенности папский престол считали своим долгом урегулировать эту проблему. Церковь настаивала на бесплатном образовании. Эта позиция мотивировалась, прежде всего, желанием обеспечить получение образования студентам-беднякам. Другие основания ее восходили к архаике, к тому периоду, когда существовало только религиозное образование, притязавшее на то, что знание есть дар божий, а потому торговля им равноценна симонии; к тому же обучение считалось составной частью церковного служения (*officium*) клирика. Св. Бернард обличал доходы мэтров как презренную прибыль (*turpis quaestus*) в одном из своих знаменитых текстов.

Папство приняло целый ряд мер по этому поводу. На третьем Латеранском соборе в 1179 году папа Александр III провозгласил принцип бесплатности образования, и к этому решению призывали многие из последующих пап. Одновременно при каждой кафедральной церкви должны были создаваться школы, преподаватели которых обеспечивались бенефицием.

Но тем самым папство оказалось привязанным к интересам интеллектуалов, обреченных просить у него бенефиций, а это остановило или, по крайней мере, заметным образом затормозило движение, которое вело интеллектуалов к освобождению от церковной зависимости.

В результате профессорами в университете могли быть лишь те, кто принимал эту материальную зависимость от церкви. Конечно, наряду с университетами, несмотря на яростное сопротивление церкви, могли основываться светские школы, но вместо того, чтобы давать общее образование, они ограничивались техническим образованием, предназначенным для купцов: письмом, счетом, иностранным языком. Так, стала расти пропасть между общей культурой и специальной подготовкой. Церковь сама ограничила сферу своего влияния, следуя за декларацией

Иннокентия III в его *Диалоге: Всякий одаренный разумом человек... может исполнять обязанности обучающего, ибо он должен выводить на правильный путь своего собрата, блуждающего вдали от пути истины и морали. Но проповедовать, то есть публично обучать, могут лишь те, кто к тому предназначен, то есть епископы и священники в церквях своих, аббаты в монастырях, коим была доверена забота о душах.* Этот текст имеет огромное значение, поскольку в нем первосвященник — к тому же не слишком склонный к нововведениям — признает в виду общего развития необходимость различения религиозной и педагогической обязанностей. Безусловно, это мнение было высказано с учетом определенного исторического контекста, а именно, целиком и полностью христианского общества. Но наивысшее в церкви лицо признало, хотя бы косвенно, светский характер образования. Как известно, должного развития эти идеи не получили.

Многие мэтры и студенты средневековья были мирянами. Однако они участвовали в распределении церковных бенефици-



ев и тем самым только усугубляли один из величайших пороков средневековой церкви и старого порядка: раздачу доходов от церковных бенефициев мирянам. К тому же очень скоро выяснилась недостаточность института предоставления бенефиция отдельному мэтру школьным центром. Мэтры и учащиеся стали получать обычные бенефиции, а это усугубило другой бич церкви: существование пастырей без постоянного места.

Наконец, позиция церкви увеличила число проблем для тех, кто искал образования, далекого от церковной деятельности, а именно, в области гражданского права и медицины. Эти люди были обречены на двусмысленное положение во многих ситуациях. Популярность юридического образования не уменьшалась, но оно постоянно подвергалось нападкам крупных представителей церкви. Роджер Бэкон заявлял: *В гражданском праве все имеет светский характер. Обратиться к столь грубому искусству — значит покинуть церковь*. Поскольку официально об этом в университете не могли даже заикаться, то вся совокупность дисциплин, развития которых требовала техническая, экономическая и социальная эволюция общества и которые были лишены непосредственного религиозного характера, оказалась на целые столетия парализована.

Спор черного и белого духовенства

Тяжкий кризис, потрясавший университеты XIII — начала XIV века, выявил двусмысленность положения интеллектуалов и недовольство многих из них. Это был спор монахов и клириков, жесткая оппозиция белого духовенства растущему числу мэтров, принадлежавших новым нищенствующим орденам.

Действительно, с самого возникновения их ордена доминиканцы стремились проникнуть в университеты. Это было даже целью их основателя — проповедь и борьба с ересями, что требовало от монахов вооруженности серьезным интеллектуальным багажом. Вскоре в университеты явились и францисканцы, число которых росло по мере отхода, по крайней мере, частичного, от позиций св. Франциска: он, как известно, был враждебно настроен к науке, считая ее препятствием на пути к нестяжательству, чистоте и братству с простым людом. Поначалу монахов хорошо

принимали. В 1220 году папа Гонорий III поблагодарил Парижский университет за радушный прием доминиканцев. Но затем последовали жестокие стычки. В этом университете они были как никогда бурными между 1252 и 1290 годами, в особенности в 1252-1259, 1265-1271 и 1282-1290 годах. В Оксфорде подобные стычки происходили несколько позже, между 1303 и 1320 годами, а затем в 1350-1360 годах.

Из этих столкновений самыми острыми и самыми типичными были те, что имели место в Париже между 1252 и 1259 годами. Своей вершины они достигли в связи с делом Гильома де Сен-Амур. Дело это сложное и поучительное.

В нем принимали участие пять сторон: нищенствующие ордена и их парижские мэтры, большинство университетских мэтров-клириков, папский престол, король Франции, студенты.

Борьба разыгралась с особой силой, когда принадлежавший белому духовенству мэтр Гильом опубликовал трактат *Угрозы новых времен*, в котором он жестоко нападает на нищенствующих братьев. Гильом был осужден папой и изгнан из университета, несмотря на сильное сопротивление некоторой его части, высказавшейся в защиту мэтра.

Поначалу, с 1252 по 1254 год, жалобы клириков имели почти исключительно корпоративный характер. Они обвиняли нищенствующих в том, что те нарушали университетские статуты, получали степени по теологии и преподавали ее, не имея звания магистров искусств. Монахи вырвали у папы в 1250 году возможность получать *лицензию* из рук канцлера Нотр-Дам, минуя богословский факультет: они желали занимать по две кафедры (и действительно их занимали), тогда как статуты позволяли — лишь одну (из четырех). К тому же они нарушали солидарность университетской корпорации, продолжая читать курсы лекций во время объявляемых университетом забастовок. Так было в 1229-1231 годах, а затем снова в 1253 году, хотя право на такую забастовку признавалось папским престолом и было записано в уставах. Кроме того, добавляли мэтры-клирики, монахи не являются настоящими членами университета, они нелояльны, они составляют университету конкуренцию. Ловят в свои сети студентов и обращают многих из них в монахи; живут на милостыню, а потому не требуют оплаты своих курсов; их не интересуют материальные требования университетских преподавателей.

Таковы подлинные жалобы. В них они далеко заходят, жалобы говорят сами за себя. Преподаватели очень скоро осознали несовместимость двойной принадлежности — к монашескому ордену (пусть в новом обличий) и к корпорации, будь она даже изначально церковной.

Интеллектуалы, не получившие нормальной базовой подготовки на факультете свободных искусств, для которых не существовало материальных проблем и ничего не значило право на забастовку, — уже не настоящие интеллектуалы. Это и не труженики науки, поскольку они не живут собственным педагогическим трудом.

Папа Иннокентий III отчасти согласился с этими аргументами; он обратил внимание на нарушения университетских статуты нищенствующими и предписал им 4 июля 1254 года следовать этим уставам. Затем, 20 ноября того же года, он урезал привилегии этих двух орденов в булле *Etsi animarum*.

Но следующий папа Александр IV, бывший ранее кардиналом-протектором францисканцев, отменил 22 декабря 1254 года буллу предшественника буллой *Nee insolitum*, а 14 апреля 1255 года освятил полную победу нищенствующих над университетскими преподавателями новой буллой *Quasi lignum vitae*.

Борьба разгорелась с новой силой и стала более ожесточенной, перейдя из корпоративного плана в догматический. Мэтры-клирики, прежде всего Гильом де Сен-Амур, и писатели вроде Рютблфа (в поэмах по данному случаю) и Жана де Мена (в *Романе о Розе*) напали на самые основы существования орденов, на их идеал.

Нищенствующие монахи обвинялись в том, что узурпировали обязанности духовенства (отпущение грехов, соборование); что они — лицемеры, ищущие наслаждений, богатства, власти; знаменитый *Притвора* из *Романа о Розе* представляет собой францисканца. Наконец, в том, что они еретики: их идеал евангельской бедности противоречит Христову учению и угрожает гибелью церкви. В качестве полемического аргумента те ссылаются на знаменитое пророчество Иоахима Флорского, ставшее модным у части францисканцев. Он пророчествовал, что в 1260 году начнется новый век, когда нынешняя церковь уступит место иной, в которой бедность станет правилом. Развитие этих идей Герардусом из Борго Сан Доннино в его *Введении в Вечное Еван-*

гелие, опубликованное в 1254 году, послужило этим целям университетских мэтров.

Безусловно, мэтры преувеличивали. Клевета, махинации, используемые ими для дискредитации орденов, бросали тень на их аргументы. А по существу дела ответ им дали Бонавентура и Фома Аквинский, которых трудно заподозрить во враждебности к университету.

Так что у этого дела имелась и не самая благопристойная сторона. Большинство пап были только рады возможности порадеть за преданные лично им ордена и закрепить университетских преподавателей. Благосклонный к францисканцам король Франции Людовик Святой позволил это сделать, и Рютблф горько упрекает его за то, что король сделался игрушкой в руках нищенствующих орденов, что он не защищает свое королевство, в котором немалую роль играют права университетов. Студенты, казалось, колебались: многие из них видели преимущества в учебе у нищенствующих, восхищались их личностями, новизной учений. Это еще более запутывало дело, вводя в заблуждение его историков.

В этой борьбе дух новых времен словно разделился надвое. С одной стороны, монахи нищенствующих орденов чужды корпоративности, они разрушают социально-экономический фундамент интеллектуального движения, составляющего надежду нового класса интеллектуалов-тружеников. С другой стороны, перебравшись в города, сблизившись с новыми классами, монахи приходят к лучшему пониманию интеллектуальных и духовных запросов горожан. У схоластики не было лучших голов, чем иные из членов этих орденов; на вершине ее стоит доминиканец св. Фома Аквинский. Под конец своего понтификата Иннокентий IV нашел компромиссное решение, сохранявшее закваску орденов в тесте университетской корпорации. Его наследники оказались не способными к такому компромиссу.

Однако, приняв новые формы, эта борьба показала, насколько дух университета противоположен монастырскому идеалу, перенятому и обновленному нищенствующими.

Центральной проблемой, разделявшей эти две стороны, было отношение к бедности. Аскетический отказ от мира, пессимизм во взгляде на человека и природу — вот источник идеала жизни в бедности. Уже поэтому он сталкивается с гуманистическим и

натуралистическим оптимизмом большинства университетских мэтров. Но бедность у доминиканцев и францисканцев имеет следствием их нищенство, жизнь на подаяния. В этом случае оппозиция интеллектуалов становится абсолютной. Человек должен жить собственным трудом. Этим они выражают общее мнение всех тружеников той эпохи, которые, что бы ни говорилось по этому поводу, в большинстве своем были враждебно настроены к новым орденам именно из-за попрошайничества. Оно затемняло истинный смысл проповеди св. Доминика и св. Франциска Ассизского. Трудно было признать в качестве идеала нечто столь похожее на обычную нищету, которой пытался избежать любой труженик. *Я могу заверить, — пишет Жан де Мен, — что ни в одном законе не писано, по крайней мере, в нашем законе, будто Иисуса Христа, странствующего с его учениками, видели собирающимися: милостыни они не просили (а этому нас учат ныне обосновавшиеся в Париже богословы)... Крепкий телом человек, коли у него нет средств, должен зарабатывать на жизнь своими руками, даже если он принадлежит к духовному званию или желает служить Богу... Святой Павел призывал апостолов работать, обеспечивать себя необходимым, запрещал жульничать, говоря: «Трудитесь своими руками, и никогда не берите чужого». Теперь спор предстает уже как борьба белого и черного духовенства в целом. Университетские проблемы отходят на второй план. Пусть парижские мэтры иной раз прибегали в этой борьбе не к самым лучшим средствам, но сражались они за самую сущность своего ремесла. На Парижском соборе 1290 года им пришлось услышать жестокую речь папского легата, кардинала Гаэтани, будущего Бонифация VIII: *Я желал бы увидеть здесь всех парижских магистров, глупостью коих блещет этот город. С безумным самомнением и греховной дерзостью они присвоили себе право толковать эту привилегию. Неужто они думают, что римская курия раздает столь важные привилегии без предварительного размышления? Разве они забыли, что слово римской курии не перышку подобно, но тяжелее свинца? Все эти магистры вообразили, будто имеют в наших глазах репутацию ученых; мы же, напротив, считаем их глупцами из глупцов, отравившими весь мир ядом своих речей, да и самим своим существованием... Недопустимо, чтобы любую привилегию священного престола крючкотворство магистров обращало в ничто.**

Магистры Парижа, вы стали посмешищем и остаетесь таковым со всеми вашими знаниями и учениями... В нашу власть отдан весь христианский мир, и мы должны считаться не с тем, что попускает капризам мэтров-клириков, но с тем, что полезно всей вселенной. Быть может, вы полагаете, будто пользуетесь у нас добрым именем; но славу вашу мы считаем лишь глупостью и дымом... Под страхом лишения мест и бенефициев мы отныне требуем покорности и запрещаем всем магистрам публично или приватно проповедовать, обсуждать или определять что-либо относительно привилегий, данных монахам... Суд римский скорее разрушит Парижский университет, нежели отзовет привилегии. Богом мы были призваны не копить знания или блистать ими перед людьми, но спасать наши души. Дела и учения братьев-монахов спасают множество душ, а потому за ними навечно сохранится данная им привилегия.¹

Но разве преподаватели не были заняты спасением душ? Заслужили ли они такие проклятия своей деятельностью? Будущий папа Бонифаций VIII уже тогда умел создавать себе врагов.



¹ Этот текст приводит Глорье в своей статье: Mgr Glorieux, *Prélats français centre religieux mendians — Autor de la bulle Ad fructus uberes (1281-1290)*, опубликованной в *Revue d'Histoire de l'Eglise de France*, 1925. Глорье пишет о трех фазах: университетской оппозиции (1252-1259); док-тринальной оппозиции (1265-1271); епископальной оппозиции (1282-1290).
97

Противоречия схоластики: опасность подражания древним

Не менее трудными были противоречия духа схоластики, которые также были чреватые кризисами.

Этот дух был рациональным, но, основываясь на античной мысли, не всегда умел от нее отойти, перенести проблемы из уже не существующего исторического контекста в контекст актуальный. Даже Фома Аквинский нередко остается пленником Аристотеля. Все же было некое противоречие в том, что для разъяснения христианства, для его приспособления к нуждам времени прибегали к учениям, предшествующим самому христианству.

Примеров тому можно привести сколько угодно. Возьмем всего лишь три из них.

Как мы пытались показать выше, для университетских мэтров с того момента, как сами они стали тружениками, не было ничего важнее проблемы труда. Но для древних труд был, прежде всего, ручным и презренным трудом раба, эксплуатацией которого жили античные общества. Фома Аквинский перенимает у Аристотеля теорию рабского труда, а Рютблф, беднейший из поэтов-школяров, гордо восклицает: *«Я не из тех, кто работает руками»*. Схоластика не сумела определить место физического труда, и это — наиболее серьезный ее грех, поскольку, обособляя привилегированный труд интеллектуала, отделяя его от других участников городской стройки, она тем самым подрывала фундамент университетского существования.

В ремесле, требующем смелости и страстной пытливости ума, интеллектуал, хотя и должен был уметь умерять свои порывы, все равно ничего не выигрывал, заимствуя у древних мораль посредственности, ту *«meden agan»* греков, из которой извлек свою *aurea mediocritas* Гораций. Интеллектуалы проповедовали именно мораль золотой середины, признак обуржуазивания и мелкого самоотречения. *«Кто ни на что не претендует, — читаем мы в Романа о Розе, — притом, что ему есть, на что жить со дня на день, тот довольствуется своим доходом и не думает, что ему чего-то не хватает... Золотая середина носит имя достаточности: в ней пребывает изобилие добродетелей»*. Так сужается горизонт, так гибнут праведные порывы.

В динамичном мире XIII века, в унисон с которым схоластика

исполняла свою партию, она не сумела отойти от античной теории искусства как подражания природе, не смогла признать творчеством человеческий труд и стесняла его.

Искусство не производит столь истинных форм, — пишет тот же Жан де Мен. — На коленях перед Природой, внимая ей, искусство выпрашивает у нее и получает, подобно нищему или вору, лишенному знания и власти, но старательно ей подражающему в том, чему она хочет его научить, — ухватывая действительность посредством изображений. Искусство наблюдает за работой Природы, ибо желало бы сотворить нечто подобное, и подражает ей, обезьянничает, но его гений слишком слаб, чтобы создавать живое, каким бы простым оно ни казалось... Увы, вот искусство, пожелавшее быть фотографией!

Соблазны натурализма

Схоластика искала связь между Богом и Природой; но натурализм интеллектуалов мог развиваться в различных направлениях. В университетах по-прежнему жила вольная традиция голи-ардов. В ней стало меньше агрессивности, зато больше уверенности. Природа и Гений не стонут у Жана де Мена в отличие от Алана Лилльского. Вторая часть *Романа о Розе* представляет собой гимн неисчерпаемому плодородию Природы, страстный призыв безоговорочно подчиниться ее законам, необузданной сексуальности. Брак при этом трактуется грубо. Налагаемые им ограничения клеймятся как противоестественные и едва ли не равные содомии.

Супружество есть связь презренная... Природа не так глупа, чтобы создавать Маротту для одного лишь Робизиона или Робизиона только для Маротты, Агнессы или Перетты; она создала нас, не сомневайтесь, ребята, всех для всех...

А вот и совсем раблезианское вдохновение: *Ради Бога, сеньоры, остерегайтесь подражать людям добропорядочным, но прилежно следуйте натуре; я прощаю вам все ваши грехи с условием, что вы хорошенько послужите делу Природы. Будьте проворней белки и легче птицы, пошевеливайтесь, не волыньте, не топчитесь на месте, не знайте ни холодности, ни оцепенения, пускайте в дело все ваши инструменты. Трудитесь во имя Господне, бароны,*

восстанавливайте ваши лямбда-жиги. Задержите платье, чтоб вас обдуло ветерком, или, коли понравится, разденьтесь догола, но так, чтоб не было ни слишком жарко, ни слишком холодно; беритесь обеими руками за рукоятки вашего плуга... Дальнейшее описывается, не взирая на приличия.

Бьющая через край витальность бросает вызов врагу — Смерти. Но человек всегда возрождается подобно птице Феникс. От косы Костлявой можно увернуться. *Хотя Смерть и пожирает Феникса, он все равно жив, пусть она пожрет его тысячу раз. Сей Феникс есть общая форма, наложенная Природой на индивидов; целиком она исчезла бы лишь в том случае, если бы не позволяла жить кому-то другому. У всех существ вселенной имеется одна и та же привилегия: пока остается хоть один экземпляр, весь вид будет жить в нем и не будет подвластен смерти...* Какое место остается христианскому духу? *Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris*, в этом вызове, который Природа бросает Смерти, в эпоху постоянно возрождающегося человечества, в витализме а la Дидро?

Этот натурализм мог развиваться в общественную теорию в духе Руссо. В своем описании золотого века и последовавшего за ним века железного Жан де Мен объявил злом всякую социальную иерархию, любой социальный порядок, который пришел на смену счастью первобытного равенства, не знавшего частной собственности. *С тех пор хижинам нужен охранник, который хватал бы преступников и выслушивал бы в суде жалобчиков. Авторитет его никто не осмелится оспаривать после того, как они собрались и выбрали его. Они избрали из своих рядов самого коренастого, кряжистого, сильного, какого только смогли найти, и сделали его князем и господином. Он поклялся охранять справедливость и защищать их жилища, если каждый станет давать ему из своих средств на жизнь, с чем все они согласились. Он долго исполнял свои обязанности. Но полное хитрости ворье сбивалось вместе, завидев его одного, и не раз колотило его, приходя что-нибудь украсть. Тогда пришлось снова собрать народ и обложить каждого данью, чтобы государь мог содержать вооруженных помощников. Все ограничились, дабы платить ему подати и налоги, и отдали ему широкие полномочия. Так произошли короли, князья земные: мы знаем это по писаниям древних, поведавших нам о событиях давнего прошлого.*

Трудное равновесие веры и разума: аристотелизм и аверроизм

Сумели ли интеллектуалы сохранить еще одно равновесие — равновесие веры и разума? С ним в XIII веке связана судьба аристотелизма. Пусть Аристотель не исчерпывался схоластической рациональностью, которая питалась также из иных, чем Стагирит, источников; именно вокруг него разыгрывалась эта партия.

Аристотель XIII века отличался от Аристотеля XII века. Прежде всего потому, что появилось более полное представление о его трудах. В XII веке его знали в первую очередь как логика, но благодаря стараниям нового поколения переводчиков к нему прибавился Аристотель — физик, моралист (в *Никомаховой этике*) и метафизик. За переводами последовали толкования. Он приходит уже откомментированным великими арабскими философами, прежде всего Авиценной и Аверроэсом. Арабы довели некоторые его положения до крайностей и удалили его, насколько это было возможно, от христианства.

Можно сказать, что на Запад проникает не один, а два Аристотеля: подлинный и Аристотель Аверроэса. Даже больше двух, поскольку чуть ли не у каждого комментатора был *свой* Аристотель. Но в этом движении вырисовываются две тенденции: одна исходит от двух великих докторов-доминиканцев Альберта Великого и Фомы Аквинского, желавших примирить Аристотеля с Писанием; другая — от аверроистов, которые, видя противоречие, принимали его и желали следовать и Аристотелю, и Писанию. Для этого они изобретают учение о двойственной истине: *одна из которых есть истина Откровения... другая же — истина одной лишь философии и естественного разума. Когда между ними обнаруживается конфликт, то мы просто говорим: вот выводы моего разума как философа, но поскольку Бог не способен лгать, то я придерживаюсь истины Откровения и прилепляюсь к ней верой.* Альберт Великий заявляет: *Если кто-нибудь думает, что Аристотель является Богом, то он должен полагать, что тот не ошибался. Но если он убежден, что Аристотель - человек, то он без сомнения мог ошибаться не хуже нашего.* Фома Аквинский убежден, что *Аверроэс был не столько перипатетиком, сколько извратителем перипатетической философии.* На это глава авер-

роистов Сигер Брабантский отвечает: *Я утверждаю, что Аристотель достиг в науке совершенства, ибо те, кто следовали за ним вплоть до нашего времени, то есть на протяжении почти пятнадцати столетий, ничего не смогли прибавить к его трудам или найти хоть какую-то значительную ошибку... Аристотель является божественным существом.*

Оппозиция была сильной не только против аверроизма, но также против аристотелизма Альберта и Фомы. Возглавляли ее августинианцы, противопоставившие авторитету Аристотеля авторитет Платона. И хотя Августин был одним из основных источников схоластики, опиравшееся на платонизм неоавгустинианство встречало решительную отповедь великих схоластов. По мнению последних, метафоричная мысль основателя Академии представляла огромную опасность для истинной философии. *По большей части, — пишет Альберт Великий, — Аристотель, опровергая мнения Платона, опровергает не суть дела, а форму. Действительно, у Платона скверный метод изложения. Все у него фигурально, а учение его полно метафор, в коих под словами подразумевается нечто иное, чем действительное значение слов, например, когда он называет душу кругом.* Томизм противопоставляет себя этой путаной мысли на протяжении всего столетия, тогда как августинианцы и платоники веками будут оспаривать все рациональные нововведения и отстаивать консервативные позиции. Их тактика в XIII веке заключалась в том, чтобы скомпрометировать Аристотеля при помощи Аверроэса, а Фому — при помощи Аристотеля и Аверроэса. Говоря об аверроизме, они всегда имели своей мишенью томизм.

Антиаристотелевские нападки проходят через все столетие, производя один университетский кризис за другим.

С 1210 года в Парижском университете налагается запрет на изучение *Физики* и *Метафизики* Аристотеля. Этот запрет возобновляется папским престолом в 1215 и 1228 годах. Но в то же самое время основанный в 1229 году Тулузский университет, весьма правоверный, сразу объявляет — дабы привлечь учащихся, — что в нем будут учить запрещенным в Париже книгам. Да и в Париже запреты остались пустым звуком: запрещенные книги включались в программы. Казалось, проблема была решена великолепной томистской конструкцией; аверроистский кризис вновь поставил все под вопрос. Несколько преподавателей с

факультета свободных искусств, во главе которых стояли Сигер Брабантский и Боэций Дакийский, отстаивали самые крайние тезисы Философа (Аристотель стал Философом *par excellence*), причем осмыслились они в духе Аверроэса. Помимо теории двойственной истины, они учили вечности мира, отрицая творение; они отказывали Богу в роли действующей причины, оставляя за ним только целевую; у него отнималось предвидение будущих событий. Наконец, иные из них — вряд ли сам Сигер — утверждали единство активного разума, отвергая существование индивидуальных душ.

Епископ парижский Этьен Тампье осудил в 1270 году авероистов, а Фома живо нападал на них со своей стороны. После его смерти (1274) началось мощное наступление на аристотелизм. Оно завершилось двумя осуждениями, провозглашенными Тампье и архиепископом Кентерберийским Робертом Килвордби.

Этьен Тампье составил список из 219 подлежащих осуждению еретических тезисов. Чего здесь только не было! Рядом с собственно авероистскими тезисами стояло до 20 положений, прямо или косвенно содержащихся в трудах Фомы Аквинского; другие вообще исходили из среды экстремистов, наследников голиардов, причем некоторые из них использовались для очернения авероистов:

18 — *что грядущее воскресение не должно признаваться философом, поскольку это невозможно исследовать разумом;*

152 — *что богословие основывается на баснях;*

155 — *что не следует беспокоиться о захоронении;*

168 — *что целомудрие само по себе не есть добродетель;*

169 — *что полное воздержание от плотских дел вредит добродетели и роду человеческому;*

174 — *что христианский закон содержит басни и заблуждения, подобно всем прочим религиям;*

175 — *что он является препятствием для науки;*

176 — *что счастье находится в этой, а не в иной жизни.*

Этот «Syllabus» вызвал многочисленные возражения. Доминиканский орден с ним вообще не стал считаться. Жиль Римский заявил: *О нем нет нужды заботиться, поскольку сделано это было не на собрании всех парижских мэтров, но по требованию нескольких недалеких умов.*

Писарь, астроном, счетовод



Один из мэтров богословского факультета Годфрид де Фонтан детально и безжалостно раскритиковал этот список. Он потребовал удаления из него явно абсурдных положений, тех, которые могли бы помешать развитию науки, а также тех, по поводу которых позволительно иметь различные мнения.

Хотя с этими осуждениями не слишком считались, они обезглавили авероистскую партию. Без сомнения, Сигера Брабантского ждали несчастья. Его смерть таинственна. Заключенный в итальянскую тюрьму, он был там убит. Эта загадочная фигура была прославлена Данте, поместившим его в Рай вместе со св. Фомой и св. Бонавентурой.

*Essa u la luce eterna di Sigieri Che,
leggendo nel vico degli strami,
Sillogettizm indiviosi veri.*

*(То вечный свет Сигера, что читал
В соломенном проулке в оны лета
И. негодным правдам поучал).*

Пер. М. Лозинского)

Сигер, о котором мы так мало знаем, представлял среду, которая нам известна еще хуже, но которая составляла в то время самую душу Парижского университета. Он выражал мнения большей части факультета свободных искусств, который, что бы ни говорили, был солью и закваской университета, зачастую налагая свой отпечаток на университет в целом.

Именно здесь давали базовую подготовку, здесь велись самые страстные дискуссии, обсуждались самые смелые новшества, плодотворно обменивались мнениями. Именно тут мы обнаруживаем бедных клириков, которые не доходят до получения лицензии или еще более дорогостоящей докторской степени, но которые вносили жизнь в дебаты по беспокоящим их вопросам. Здесь мы стоим ближе всего к городскому люду, к внешнему миру; здесь менее заботились о получении доходного места и не боялись вызвать недовольство церковной иерархии; здесь жил светский дух, который был и наиболее свободным. Именно здесь аристотелизм принес все свои плоды. Здесь оплакивали смерть Фомы Аквинского как невосполнимую утрату. Именно *артисты* в потрясающем письме требовали у доминиканцев прах великого доктора. Прославленный богослов был одним из них.

Именно в авероистских кругах факультета свободных искусств выработывался идеал интеллектуала во всей его чистоте.

Это Боэций Дакийский утверждал, что *философы* (так именовали себя интеллектуалы) *по природе своей добродетельны, чисты и умеренны, справедливы, сильны и свободны, мягки и великодушны, замечательны, законопослушны, равнодушны к наслаждениям...* И как раз этих интеллектуалов его времени преследуют *злоба, зависть, невежество и глупость.*

Они великодушны. Вот верно найденное слово. Как прекрасно показал отец Готье¹, именно у интеллектуалов мы находим высший идеал великодушия, который еще Абельяр считал началом добродетели, страстью надежды. Великодушие *есть воодушевление человеческими делами, энергией в их реализации, доверие мастерству, которое, став на службу человеку, только и способно обеспечить осуществление его целей, великодушие есть типично мирская духовность, созданная для остающихся в мире людей, ищущих Бога не прямо в монастырской духовности, но в человеке и в мире.*



Отношения между разумом и опытом

Столь же трудно было примирить другие противоположности: разум и опыт, теорию и практику.

Первой попыталась примирить их английская школа: сначала великий ученый Роберт Гроссетест, канцлер Оксфорда и епископ Линкольна; затем группа оксфордских францисканцев, из которой вышел Роджер Бэкон. Он дал точное определение программы в *Opus Majus: Усмотрев источник мудрости латинян в знании языков, математики и оптики, я хочу показать источники ее в опытной науке, ибо без опыта ничего нельзя знать в достаточной мере... Ведь если какой-нибудь человек, никогда не видавший огня, докажет с помощью веских доводов, что огонь сжигает, повреждает и разрушает вещи, то душа слушающего не успокоится, и он будет избегать огня до тех пор, пока сам не сунет руку или воспламеняющуюся вещь в огонь, чтобы на опыте проверить то, чему учат доводы. Удостоверившись же на опыте в*

¹ Magnanimité. L'idéal de la grandeur dans la philosophie païenne et dans la théologie chrétienne, 1951.

действию огня, дух удовлетворится и успокоится в сиянии истины. Следовательно, доводов недостаточно, необходим опыт. Схоластика подготавливает тем самым собственное отрицание, равновесие готово рухнуть под напором эмпиризма.

Отношения между теорией и практикой

Медики, а с ними хирурги, оптики утверждают необходимое единство теории и практики. *Хирургия, которой учатся на основе одной лишь практики, — говорит Аверроэс,— которой занимаются без предварительного изучения теории, как, например, хирургия крестьян и всех неграмотных, есть чисто механическая, а не теоретическая деятельность, и в ней нет ни науки, ни искусства.* Но он же, с другой стороны, утверждает: *После теоретического обучения медик должен прилежно обратиться к практическим упражнениям. Лекции и диссертации учат лишь малой части хирургии и анатомии. На деле в этих двух науках не так уж много того, чему можно научить речами.*

Но разве схоластика не предалась в таком случае одной из крайностей, одному из главных своих соблазнов — абстракции?

Ее язык, латынь, оставался живым языком, приспособленным к нуждам науки своего времени и способным выразить все новшества. Но он был лишен богатства

расцветающих
народных языков,
отдаляя
интеллектуалов от
массы мирян — от их
проблем, от их
психологии.



Обратившись к абстрактным и вечным истинам, схоластика рисковала утратить связь с историей, с реальным, движущимся, развивающимся миром. Когда Фома Аквинский говорит: *Задача философии состоит в знании не того, что думали люди, но того, в чем истина вещей*, — то он справедливо отвергает философию, которая сводится к истории мысли философов. Но не ампутирует ли он тем самым и одно из измерений самой мысли?

Величайшей опасностью для интеллектуалов схоластики было превращение в интеллектуальную технократию. К концу XIII века университетские мэтры завладели высокими постами в церковной и светской иерархии. Они сделали епископами, архидиаконами, канониками, советниками, министрами. Наступила эра докторов, богословов, законников. Своего рода университетское франкмасонство мечтает о руководстве всем христианским миром. Вместе с Жаном де Меном, с Боэцием Дакийским оно утверждает, что *интеллектуал стоит выше князя, выше короля*. Роджер Бэкон, сознавая, что наука должна быть коллективным трудом, мечтая об огромной команде ученых, желал также того, чтобы бранные руководители университетов держали в своих руках судьбы мира. Он умоляет папу проявить инициативу и создать такую когорту правителей. В связи с появлением в 1264 году кометы, предвещавшей чуму и войны, он пишет: *Сколь великая польза была бы церкви, если бы ученые установили состояние небес на то время, сообщили о том прелатам и государям... Тогда не было бы ни такой бойни христиан, ни такого числа души, отправившихся в ад*.

Пожелания благочестивы, но они прикрывают пугающую утопию. Интеллектуал также должен сказать себе: *sutor, ne supra...* Если справедливо, что наука завершается политикой, то, когда ученый заканчивает политиканом, это редко ведет к добру.

В аудитории, миниатюра. Болонья, XV век



110

От университетского преподавателя к гуманисту



Закат средневековья

Конец Средних веков — это период перелома. Демографический прирост останавливается, а затем начинается откат, отягощаемый голодом и эпидемиями, среди которых чума 1348 года была самой катастрофичной. Перебои в снабжении экономики Запада

драгоценными металлами ведут к нехватке серебра, а затем и золота. Положение обостряется войнами: Столетняя война, война Алой и Белой розы, иберийские, итальянские войны.

Они ускоряют перестройку экономической и социальной структур Запада. Социальную жизнь потрясает эволюция феодальной ренты, все более принимающей денежную форму. Между жертвами такого развития и теми, кто от него выигрывал, разрастается пропасть. В некоторых областях (Фландрия, север Италии, большие города) наиболее эксплуатируемые ремесленники пролетаризируются и по уровню жизни уравниваются с крестьянской массой, тогда как высшие слои городской буржуазии увеличивают свои доходы — как за счет раннекапиталистической деятельности, так и за счет

земельной ренты, обеспечивая себе последнюю за счет единения со старыми господствующими классами: дворянством, верхушкой черного и белого духовенства. Этим классам по большей части удастся справиться с угрожающей им ситуацией. В этом их укреплении главную роль играют политические факторы. Политическая власть приходит на помощь экономическому господству. Веками она будет поддерживать старый порядок. Наступила эра Государя. У него на службе достигают богатства, власти, престижа, становясь его чиновниками или придворными. Это хорошо поняли как представители старых элит, сплывающиеся вокруг тирании или монархии, так и представители новой формации, пользующиеся благосклонностью государя.

Интеллектуал средневековья исчезает в этом контексте. На авансцену культуры выходит новый персонаж — гуманист. Правда, он появляется лишь к концу того акта, в котором удаляется его предшественник. Последний не был убит, он сам спешил к этой смерти и к такой метаморфозе. Подавляющее большинство университетских мэтров на протяжении XIV-XV веков своим отступничеством подготавливали исчезновение средневекового интеллектуала.

Эволюция доходов

К концу Средних веков университетский интеллектуал сделал окончательный выбор между принадлежностью к миру труда и вхождением в группы привилегированных. Отныне и на протяжении нескольких столетий на Западе не будет интеллектуала-труженика. Вернее, это имя могут носить только находящиеся где-то в тени учителя коммунальных школ. Быть может, иные из них сыграли свою роль в революционных движениях, вроде восстания Чомпи во Флоренции в 1378 году, но они не занимали заметного места в интеллектуальном движении.

Разумеется, университетские преподаватели XIV-XV веков не отказываются от оплаты своего труда. Даже более того, они упорно цепляются за скудные доходы в эти трудные времена. С растущей алчностью они требуют от студентов платы за лекции: церковь так и не смогла окончательно это пресечь. Появляются все новые предписания относительно подношений, которые сту-

денты должны вручать мэтрам во время экзаменов. Ограничиваются все те университетские расходы, которые могли бы ввести в убыток мэтров. Быстро уменьшается число бедных студентов, которые по уставам могли бесплатно получать образование и степень. В Падуе в начале XV века на каждом факультете остается по одному такому студенту: хотя бы в теории сохраняется отстаиваемый церковью принцип. Но это больше напоминает милостыню, которую богатый купец подает нищим.

Вместе с тем иссякает приток студентов со скромными средствами, а ведь именно они составляли закваску факультетов. Отныне они либо зависят от протектора, либо довольствуются богемной жизнью, которая не ставит на первое место интеллектуальные притязания, — примером может служить Вийон.

Любопытное решение падуанских докторов гражданского права иллюстрирует такую эволюцию отношений между мэтрами и студентами. Дополнение к статутам от 1400 года устанавливает подвижную шкалу прав мэтров на доходы, тогда как стипендии удерживаются на фиксированном уровне. Такая университетская политика — явление, характерное для Западной Европы второй половины XIV века. В связи с ростом цен администрация и работодатели стремятся блокировать рост зарплаты, они не признают связи между стоимостью жизни и выплачиваемым вознаграждением, поскольку признание ее вело бы к установлению подвижной шкалы заработной платы. В то же самое время получающие доходы от ренты, ценза, аренды зачастую успешно приспосабливаются к росту стоимости жизни: они либо требуют оплаты натурой, либо переводят в наличные деньги ту плату, которая ранее оценивалась только в переводных деньгах.

Этот пример показывает, что университетские интеллектуалы вошли в социальные группы, живущие доходами феодально-сеньориального или капиталистического порядка.

Стоит сказать, что именно доходы такого рода приносят университетским мэтрам наибольшие прибыли. Конечно, на первом месте стоит церковный бенефиций, но за ним следует помещение средств в недвижимость, в дома и земли. Картуларий Волонского университета позволяет проследить возникновение к концу XIII века крупных университетских владений. Пусть больше всего зарабатывали знаменитости, но и прочие мэтры стали по большей части богатыми собственниками. Следуя при-

Св. Джером за работой, XV век



меру других богачей, они предаются спекуляциям. Они делаются ростовщиками. Часто они замечены в том, что дают деньги нуждающимся студентам под высокие проценты, причем в качестве залога берут предметы, имеющие для тех двойную ценность, — книги.

Франциск Аккурций имел владения в Будрио, в Олметоле, располагал великолепной виллой в Риккардине, где его современники дивились гидравлическому колесу, почитавшемуся за чудо. В Болонье он вместе с братьями владел прекрасным домом с башней, который и сегодня образует правое крыло дворца

коммуны. Вместе с другими докторами он входит в коммерческое общество, занятое книготорговлей в Болонье и в других странах. Он настолько погряз в ростовщичестве, что перед смертью должен был просить отпущения грехов у самого папы Николая IV, который и дал ему таковое, словно по привычке. То же самое относится к Альберто Одофредо, сыну великого Одофре-до. Этот был уже ростовщиком *non paeciol, ma sovra.no* (не малым, но королевским): интересы его распространялись не только на крупную недвижимость, но также на производство льна.

Мэтр Джованни Андреа дает своей дочери Новелле в 1326 году в качестве приданого 600 золотых монет — сумма весьма значительная.

Но эти доходы падают вместе с феодальной и земельной рентами, вместе с трансформацией их в денежную ренту и вместе с превратностями денежного оборота в конце Средних веков, девальвациями и кризисами. Богатства мэтров убывают, один за другим распродают они свои дома и земли. Отсюда ожесточенное выколачивание других доходов: гонораров от студентов, платы за экзамены. В этом причина и обновления части университетского персонала, связанная с изменением экономической базы. Наконец, финансовые причины толкают мэтров к новым центрам богатства, прибывают их ко дворам князей, в свиту церковных и светских меценатов.

К наследственной аристократии

Отчасти такое обновление персонала тормозилось тенденцией к наследованию университетских постов. Уже знаменитый юрист Аккурций в XIII веке отстаивал предпочтительное право сыновей докторов на свободные кафедры в Болонье. Коммуна трижды этому препятствовала: в 1295, 1299 и 1304 году. Но напрасно. Когда в 1397 году новые статуты коллежа юристов предписывают не допускать к защите докторской более одного гражданина Болоньи в год, то исключение делается для сыновей, братьев и племянников докторов. Более того, им предоставляются все более широкие права. В Падуе в 1394 году принимается декрет: для всякого доктора, который по мужской линии происходит из Докторов, даже если его отец таковым не был, возможно бесплат-

ное поступление в коллеж юристов. В 1409 году в декрет вносится уточнение: сын доктора должен бесплатно сдавать экзамены. Образование университетской олигархии вело не только к чрезвычайному понижению интеллектуального уровня, оно приносило в университетскую среду одну из важнейших черт знати — наследственные права. Олигархия делается кастой.

Чтобы стать аристократией, университетские интеллектуалы прибегают к обычному средству тех групп и индивидов, которые хотели получить дворянство; они, как то замечательно изобразил Марк Блок, перенимают у благородных стиль жизни.

Из своих одеяний и атрибутов своих обязанностей они делают символы аристократии. Кафедра все чаще и чаще украшается навесом, подчеркивая их знатность; она становится знаком их обособленности, высоты, величия. Золотое кольцо, шапочка, берет, вручаемые им в день *conventus publicus* или *inceptio*, все менее рассматриваются в качестве знаков исполняемых функций, все более как эмблема престижа. Они носят длинную мантию, капюшон, подбитый беличьим мехом, нередко воротник из горноста и впридачу длинные перчатки, которые в Средние века считались символом социального ранга и могущества. Уставы требуют от кандидатов все растущее число перчаток, которые должны вручаться докторам во время экзамена. В одном из болонских текстов (1387) уточняется: *Кандидат обязан в удобное время представить через сторожа достаточное число перчаток для докторов коллежа... Эти перчатки должны быть настолько длинными и широкими, чтобы закрывать руку до локтя. Они должны быть также из хорошей замши и вполне свободными, дабы руки в них входили без помех и с удобством. Под перчатками из хорошей замши следует разуть те, что покупаются не менее чем по 23 су за дюжину.*

Празднества по случаю получения докторской степени все чаще сопровождаются увеселениями, как это принято у знатных особ: балами, театральными представлениями, турнирами.

Дома преподавателей становятся все роскошнее, а у самых богатых, вроде Аккурция, украшаются башнями, которые теоретически были привилегией аристократии. Их гробницы представляют собой настоящие памятники, как те, что доньше украшают церкви Болоньи (иногда они устанавливались прямо на площадях).

Ректоры Болоньи уже по уставу должны *жить благородно*. Среди них мы встречаем представителей семейств герцога Бургундского и маркграфа Баденского. Они получают право носить оружие, их сопровождает эскорт из пяти человек.

Артисты, коих ценят меньше, получают привилегию не проходить военную службу, тогда как студенты, если они достаточно богаты, могут найти того, кто готов их заместить.

Эта эволюция коснулась и титула мэтра. Поначалу, в XII веке, магистр, *magister*, означал просто мастера, главу мастерской. Школьный мэтр был таким же мастерским, как и прочие ремесленники. Его титул говорил лишь о его месте на стройке. Но вскоре он возносится в своей славе много выше. Адам Птипонг одергивает свою кузину, которая из английской глубинки пишет ему в Париж, не упоминая его титула. В одном тексте XIII века говорится: *Мэтры учат не для того, чтоб быть полезными, но чтобы их называли Равви*, то есть господами, если следовать евангельскому тексту. В XIV веке *magister* делается равнозначным *dominus* — господин, хозяин.

Мэтры Болоньи именуется в документах следующим образом: *nobiles viri et primarii cives* — *благородные мужи и первые граждане*; в повседневной жизни они зовутся *domini legit*, господа юристы. Студенты называют мэтра, которому отдается предпочтение, — *dominus meus*, мой господин. Этот титул напоминает о вассальных отношениях.

Вот и грамматик Мино да Колле заявляет своим ученикам: *Столь искомое знание стоит более, нежели всякое иное сокровище; оно помогает бедному подняться из праха, оно делает знатным незнатного, награждает его блестящей репутацией, позволяя благородному превосходить низкородных и принадлежать к избранным.*

Итак, наука вновь превратилась в сокровище, в инструмент власти, она перестала быть бескорыстной целью.

Как тонко заметил Хейзинга, на закате средневековья устанавливается равенство между рыцарством и наукой, что дает владельцу докторского титула равные с рыцарем права. *Знание, Бера и Рыцарство суть три лилии в «Венце лилий» Филиппа де Витри (1335), и в «Житии» маршала Бусико можно прочесть: «Две вещи были внедрены, в мир по Божией воле, дабы, подобно двум столпам, поддерживать устройство божеских и человеческих*

*законов. Эти два столпа суть рыцарство и ученость, сочетающиеся друг с другом». В 1391 году Фруассар различает рыцарей-ратников и *рыцарей-законников*. Император Карл IV посвящает последних в рыцари в Бартоло, дает им право носить оружие в Богемии. Завершение этой эволюции: Франциск I в 1533 году возводит в рыцарское звание докторов университета.*

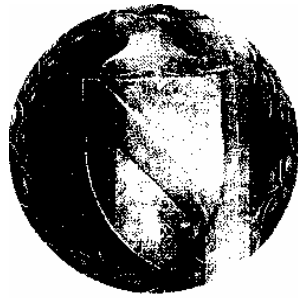
Понятно, что, сделавшись столь важными, эти лица уже не желают, чтобы их смешивали с работниками. Это означало бы отказ от своего дворянства — по принципу утраты чести, который был столь силен во Франции, что Людовик XI воевал с ним без всякого результата. Интеллектуалы присоединяются к хору тех, кто вновь с презрением отзывается о физическом труде. Во времена гуманизма, как хорошо отметил Генрих Хаузер, такое презрение лишь усугубляется предрассудками, впитанными с греко-латинской ученостью. Все это очень далеко от стремления XII-XIII веков сблизить свободные искусства с механическими, сплавляя их в одном движении. Так, в схоластике происходит раскол между теорией и практикой, наукой и техникой. Лучше всего это заметно у медиков. Происходит обособление врача-клирика и аптекаря-бакалейщика, хирурга. В XIV веке во Франции ряд эдиктов и ордонансов санкционирует разделение среди хирургов. Первый эдикт был издан Филиппом Красивым в 1311 году. От прочих отличают, прежде всего, *хирургов длинной мантии*, имеющих степень бакалавра или лиценциата. Основанием для этого являются уставы (первые из известных нам относятся к 1379 году), которые отделяют аристократию хирургов от *цирюльников*, которые не только бреют, но также делают небольшие операции, торгуют мазями и настоями, пускают кровь, перевязывают раны и ушибы, вскрывают гнойники. Поскольку религия представляет собой модель для общества, образуются две корпорации — братство Космы и Дамиана и братство Гроба Господня. Можно представить себе, какой урон был нанесен прогрессу науки этим барьером между учеными и практиками, между миром науки и миром техники.

Коллежи и аристократизация университетов

Аристократизация университета видна также в развитии коллежей, которые нужно рассматривать в исторической перспективе. Основанные в благотворительных целях, коллежи поначалу включали в себя незначительное меньшинство привилегированных; не были они и заметными центрами преподавания. Если позже иные из них и присвоят себе некоторые образовательные программы, вплоть до того, что созданный Робертом де Сорбоном в 1257 году коллеж слился с теологическим факультетом и дал свое имя Парижскому университету, если Кембридж и Оксфорд расплылись на «колледжи», ставшие базой образования и сохранившиеся донныне в почти неизменном виде, то в общем они не играли той роли, которую ретроспективно им приписывают. Многие из них быстро получили известность: коллежи д'Аркур (1280) и Наварры (1304) вместе с Сорбонной в Париже; коллеж Испании, основанный в Болонье в 1307 г. кардиналом Альборносом; Баллиоль (1261-1266), Мертон (1263-1270), Университетский (примерно в 1280), Эксетер (1314-1316), Ориель (1324), Королевы (1341), Новый колледж (1379), Линкольн (1429), All Souls (основанный в 1438 году в честь упокоения душ англичан, павших в Столетней войне), Магдалены (1448) в Оксфорде и в Кембридже — Питерхаус (1284), King's Hall и Михаельхаус в 1324 году, Университетский (1326), Пемброк (1347), Гон-виль

(1349),
Троицы
(1350),
Corpus
Christi
(1352),
Godshouse
(1441-
1442),
коллед
жи
Короля
(1441) и
Короле
вы
(1442),
св.
Катарин
ы
(1475),
Иисуса
(1497).
Но эти
учрежд
ения,
привлек
авшие к
себе
препода
вателей,
не
распола
гавших
собстве
нными
здания
ми, по
своему
облику
сильно
отличал
ись от
того
образа,
которы
й по
традици
и им
придает
ся. Они
стали
центра
ми
поме-

Эмблемы Испанского и
Фламандского
колледжей, Болонья



стных владений, они сдавали и покупали дома — сначала в окрестностях, а затем и в соседних деревнях и селениях, коммерчески используя недвижимость. Им принадлежало право юрисдикции на находящиеся в их владении кварталы, они регулировали движение на прилегающих к ним улицах, селили в своих домах семьи магистратов, например членов парламента в Париже. Квартал Сорбонны сделался в Париже «прибежищем судейских». Коллежи по своему стилю возвращались к древним аббатствам. Они кристаллизуют аристократическое перерождение университетов; подчеркнутая закрытость способствовала сделке университетских мэтров и системы образования в целом с олигархией — в первую очередь с олигархией мантии.

Так университеты, становясь собственниками, чьи экономические интересы выходили за пределы управления корпоративными делами, но распространялись на поместья, сами делались силой, укорененной в мирской власти. Печати, бывшие ранее атрибутами корпорации, превратились в орудия власти.

Эволюция схоластики

Социальной эволюции соответствует эволюция самой схоластики, которая пришла к отрицанию собственных фундаментальных требований. Попробуем вычленил на чрезвычайно сложной картине философии и теологии XIV-XV веков несколько основных линий развития, которые отклонялись от позиций схоластики XIII века: критическое и скептическое течение, берущее начало у Дунса Скота и Оккама; научный экспериментализм, который вел к эмпиризму в оксфордском колледже Мертон и у парижских докторов (Отрекура, Буридана, Орема); аверроизм, который, начиная с Марсилия Падуанского и Жана Жанданского, переходит в политическую сферу и, как мы увидим, ведет к великим ересиархам — Виклифу и Гусу; наконец, антиинтеллектуализм, окрашивающий всю схоластику времен заката средневековья, вскормленный мистицизмом Мейстера Экхарта и популяризируемый в XV веке Пьером д'Айи, Жерсоном и Николаем Кузанским.

Раскол между разумом и верой

Вместе с великими докторами-францисканцами Иоанном Дунсом Скотом (1266-1308) и Уильямом Оккамом (примерно 1300-1350) теология начинает атаку на главную проблему схоластики — равновесие между разумом и верой. Начиная примерно с 1320 года, как отметил Гордон Лефф¹, происходит отказ как от традиции, идущей от Ансельма (*вера в поисках разума*), так и от попыток найти единство тварного и божественного, что было, при всех различиях в подходе, общим стремлением августинианцев и томистов. К тому же августинианство в XIV-XV веках вновь начинает преобладать над духом томизма, против которого ополчаются мыслители того времени.

Именно Дуне Скот первым попытался отделить разум от веры. Бог настолько свободен, что ускользает от человеческого разума. Божественная свобода, ставшая центром богословия, недоступна для разума. Уильям Оккам следует за Дунсом Скотом и доходит до окончательного разрыва между практическим и теоретическим познанием, применяя следствия из учения Скота к отношениям человека и Бога. Он различает абстрактное и интуитивное познание. В противоположность интуитивному абстрактное познание *не позволяет нам. знать, существует ли вещь, которая существует, или что вещь несуществующая не существует... Интуитивное познание есть такое познание, посредством которого мы знаем, что вещь существует, когда она существует, и что она не существует, когда она не существует.* Конечно, как показал Поль Виньё, оккамистская логика не обязательно ведет к скептицизму. Процесс познания не предполагает необходимого существования познаваемого объекта. Истина достигается двумя совершенно обособленными путями: доказуемо лишь то, что может быть подтверждено опытом; все остальное — дело умозрения, которое не дает не то что достоверного, но даже вероятного. Но применение этих принципов к теологии самим Оккамом ведет к скептицизму. Определяемый лишь как всемогущий, Бог *делается синонимом неопределенности, он уже не является мерой всех вещей... Вследствие этого разум уже не может более подкреплять или подтверждать верование. Верова-*

¹ Past and Present, Avril 1956.

ние должно покинуть поле дискуссии, освобождая место факту; либо оно подлежит сомнению, которое распространяется на все сверхчувственное.

К. Мишальский хорошо показал, как оккамисты, отталкиваясь от этих предпосылок, развивали философию и теологию в сторону критицизма и скептицизма. Это развитие наложило глубокий отпечаток даже на университетское образование. Все более пренебрегают комментариями на *Сентенции* Петра Ломбардского, которые ранее были краеугольным камнем богословского образования. После Оккама уменьшается число *проблем*, они все более сосредоточиваются на всемогуществе и свободе воли. Одновременно нарушается всякое равновесие между природой и благодатью. Человек может совершить все требуемое от него Богом даже без помощи благодати. Все догматическое обучение не имеет никакого значения. Подрывается вся система ценностей. Добро и зло уже не исключают друг друга со всей непреложностью. Способности человека теперь можно обсуждать лишь в естественных терминах, сопоставимых с данными опыта.

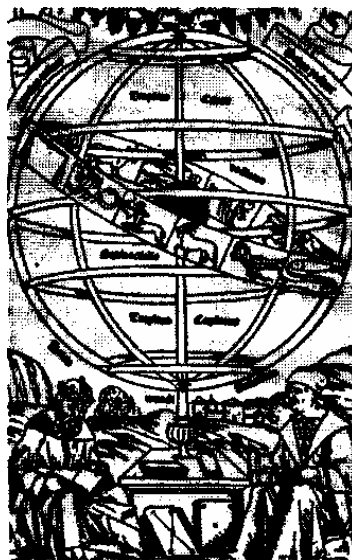
Противники оккамизма, вроде оксфордца Томаса Брэдвардина, согласны рассматривать вопросы в той же плоскости, они ставят те же самые проблемы. Их ссылки на авторитет, делающие из догмы центр всякой истины и всякого дознания, ведут к столь же радикальному исключению разума. Как пронизательно заметил Гордон Лефф, без разрушительной работы скептического богословия *не смогли бы появиться ни Возрождение, ни Реформация*. Отныне открыт путь для волюнтаризма, который в вырожденной и извращенной форме станет узаконивать волю к власти, сделается оправданием тирании государя. Будут отброшены последние угрызения совести — вроде тех, что были у Габриеля Билл, который, защищая своего мэтра Оккама, утверждал, что тот все же не предавал своего ремесла интеллектуала: *Было бы постыдно, если бы богослов не мог дать каких-то разумных оснований для веры; либо у Пьера д'Айи, со всей осторожностью говорившего: При истинности и спасительности нашей веры было бы недопустимо не защищать и не поддерживать ее вероятностными аргументами.*

Границы экспериментальной науки

Этот критицизм лежит в основе логических и научных трудов представителей Мертоновского колледжа — Уильяма Хейтсбери и Ричарда Свайнсхеда (продолжателей Гроссетеста и Роджера Бэкона), а также парижских мэтров — Николая из Отрекура, Жана Буридана, Альберта Саксонского, Николая Орема. Они довольствуются опытом: *Я не считаю все это достоверным, но только попросил бы господ-богословов объяснить мне, как все это могло произойти.*

Этих мэтров сделали предшественниками великих ученых начала Нового времени. Таков Жан Буридан, который был ректором Парижского университета, но которого потомки парадоксальным образом помнят только по скандальной любовной истории с Жанной Наваррской и по *Буриданову ослу*. Он *предвосхитил основы современной динамики*, дав определение движения тела, приближающегося к *impeto* Галилея и к *количеству движения* Декарта. *Если тот, кто бросает метательный снаряд, с равной скоростью бросит легкий брусочек дерева и тяжелый кусок железа, притом что оба они равны по размеру и форме, то кусок железа улетит дальше, поскольку запечатленное в нем стремление более интенсивно.* Таков Альберт Саксонский, который своей теорией тяжести *оказал влияние на все развитие статики вплоть до середины XVII века и привел Леонардо да Винчи, Кардана и Бернарда Палисси к изучению ископаемых.* Что же касается Николая Орема, ясно указавшего

Земной шар по
Птолемею



на закон падения тел, суточное движение Земли и назначение координат, то он выглядит *прямым предшественником Коперника*. По мнению П. Дюгема, его доказательства опираются на аргументы, *ясность и точность которых во многом превосходят то, что было написано Коперником по тому же поводу*. Все это спорно, и такие споры продолжаются. Можно только сказать, что поразительные интуиции этих ученых долгое время не приносили плодов. Чтобы стать плодоносными, умозрениям нужно было освободиться от удавки средневековой науки — от отсутствия научного символизма, способного перевести умозрение в ясные формулы, пригодные для широкого применения и просто выражающие принципы науки; от отставания техники, не способной перенимать теоретические открытия; от тирании богословия, мешавшего *артистам* пользоваться ясными научными понятиями. Ученые XIV века стали раскрывать нам свои тайны в трудах А. Койре, А.-Л. Майера, А. Комба, М. Клагетта, Ж. Божуана. Но весьма вероятно, что они поспособствовали дискредитации рационализма, чтобы затем зайти в свои тупики.

Антиинтеллектуализм

Все они присоединяются к антиинтеллектуальному течению, которое все больше завладевает умами. Мистицизм Мейстера Экхарта соблазняет большинство мыслителей конца средневековья. В 1449 году кардинал Николай Кузанский, автор последней великой схоластической Суммы средневековья, защищает Экхарта и атакует аристотелизм в *Апологии ученого незнания: Великие мудрецы древности больше всего учили остерегаться, чтобы сокровенное не сообщалось умам, скованным авторитетом застарелой привычки. Правила старинного благочестия имеют такую силу, что у многих легче вырвать жизнь, чем эту привычку, как мы видим у преследуемых иудеев, сарацин и других упорных еретиков: предрассудок, закрепленный давностью времени, они превратили в закон, который предпочитают жизни. Теперь преобладает аристотелевская школа, которая считает совпадение противоположностей ересью, в то время как его допущение — начало восхождения к мистической теологии; вот представители этой школы и отбрасывают этот метод как совершенно нелепый и*



якобы противоположный своей собственной цели; и было бы похоже на чудо, как и изменение школы, если бы, отбросив Аристотеля, они смогли подняться на более высокую ступень... И далее, взяв под защиту Экхарта, он так завершает свое обращение: Хотя многое не запомнилось, что есть, посылаю тебе для прочтения и, где сочтешь нужным, для внесения добавлений; пусть благодаря твоему пылу даст ростки дивное семя, возвышающее нас к созерцанию Бога: ведь я давно слышу, что в Италии это семя, будучи воспринято ревностными умами, твоей неослабной заботой, обещает великие плоды. Я не сомневаюсь, что это созерцание одолеет

все рассудочные методы всех философов, хотя и трудно расстаться с привычным. Не замедли сообщить мне о твоих успехах: только это и поддерживает меня, словно некая божественная пища, в моем неизменном стремлении благодаря науке незнания достичь, насколько позволит Бог, наслаждения от той жизни, которую теперь я созерцаю издали и к которой стремлюсь быть с каждым днем ближе. И достичь ее, Божьим даром отрешившись от здешинего, да позволит Бог, бесконечно возлюбленный, во веки благословенный. Аминь (Пер. Ю. А. Шичалина).

Уже в середине XIV века Ричард Фитцральф дал пример того, как философия превращается в фидеистическую теологию, выразив ее в молитве Христу: *Пред тем, как узнать Тебя, дабы Ты вел меня, Тебя, который есть Истина, я слушал, ничего не понимая, шум философов, болтовня которых была направлена против Тебя, — хитроумных иудеев, спесивых греков, материалистов сарацин и невежественных армян...* В своей Сумме он сознательно отказывается от схоластических аргументов, чтобы пользоваться только текстом Библии.

Главным противником является Аристотель, как мы уже видели это у Николая Кузанского. *Раньше,— пишет Фитцральф,— моя мысль держалась учений Аристотеля и аргументов, кажущихся глубокомысленными лишь тем, кто погрузился в свое тщеславие.* Пьер д'Айи, бывший ректором Парижского университета, откликается на это: *В философии или в доктрине Аристотеля нет или почти нет оснований, доказуемых с очевидностью... Вследствие этого, она заслуживает имени мнения, нежели науки. Таким образом, достойны всяческого порицания те, кто упорно ссылаются на авторитет Аристотеля.*

Так мыслил и Жан Жерсон, еще один знаменитый ректор Парижского университета на грани XIV и XV веков. Ему приписывают авторство *Подражания Христу*, в котором мы читаем: *Многие утомляют и мучают себя, чтобы обрести ученость, и я увидел, как говорит Мудрец, что это тоже суета, труд и томление духа. Чем вам поможет знание вещей мира сего, если сам этот мир преходящ? В судный день вас спросят не о том, что вы успели узнать, но что вы сделали, а в аду, куда вы спешите, уже не будет науки. Оставьте пустые труды.*

Так схоластика уступает место возвращающемуся святому неведению, рациональная наука стушевывается перед лицом

аффективной набожности, выражением которой могут служить благочестивые сочинения Жерсона и д'Айи. Университетские мэтры сближаются с некой гуманистической духовностью, *devotio moderna*: мы знаем, какое влияние она оказала на Эразма.

Национализация университетов: новая университетская география

На протяжении двух веков университеты утрачивают свой международный характер. Главной причиной этого является основание многочисленных новых университетов, получающих все более национальное (или даже региональное) назначение.

С XIII века по ходу испанской Реконксты и укрепления власти иберийских монархов на полуострове рождаются учреждения, которые по своему характеру отличаются от спонтанно возникших Болоньи, Парижа, Оксфорда, хотя иные из этих новых университетов развивались на месте уже существовавших школ. Чаще всего речь идет о совместных творениях государей и пап.

После неудачной попытки создать университет в Валенсии университет рождается в Саламанке благодаря усилиям Альфонса IX Леонского (между 1220 и 1230 годами). Он окончательно учреждается хартией Альфонса X Мудрого, который сам был знаменитым ученым, в 1254 году, и буллой папы Александра IV в 1255 году. Затем один за другим открываются университеты в Лиссабоне и Коимбре (1290), Лериде (1300), Перпиньяне (1350), Уэске (1354), Барселоне (1450), Сарагоссе (1470), Пальма де Майорке (1483), Сигуэнсе (1489), Алькале (1499), Валенсии (1500).

Начиная с XIV века это движение достигает стран центральной, восточной и северной Европы. Первым университетом Империи становится Пражский в 1347 году, созданный папой Климентом VI по просьбе императора Карла IV, отдававшего первенство своему королевству Богемии. Затем последовал Венский университет, основанный Рудольфом IV и Урбаном V в 1365 году и заново основанный Альбертом III в 1383 году. Потом возник Эрфуртский, увидевший свет лишь в 1392 году, хотя буллы двух пап — Климента VII в 1379 году и Урбана VI в 1384 году — этому предшествовали. За ними следуют университеты Гей-дельберга (1385), Кельна (1388), Лейпцига (рожденный в 1409

году из-за кризиса в Праге), Росток (1419), Трира (основан в 1454 году, но фактически начал действовать только в 1473 году), Грейфсвальда (1456), Фрейбурга в Брейсгау (1455-1456), Базеля (1459), Ингольштадта (удостоившийся папской буллы в 1459, но организованный в 1472), Майнца (1476), Тюбингена (1476-1477). В это же время, в 1425 году, возникает Лувенский университет, который привлекает студентов из Бургундии. Краковский университет, основанный Казимиром Великим в 1364 году, был затем открыт вновь Владиславом Ягеллоном с помощью папы Бонифация IX в 1397-1400 годах. В Печском университете с 1367 года преподается каноническое право. В Будапеште университет основывается в 1389 году и ненадолго расцветает к 1410 году, в Пресбурге он появляется в 1465-1467 годах. Швеция обзаводится своим университетом в Упсале в 1477 году, Дания получает свой в Копенгагене в 1478 году. Если английский ученый мир по-прежнему концентрируется вокруг Оксфорда и Кембриджа, то шотландские короли основали три университета — в Сент-Эндрю (1413), в Глазго (1450-1451) и в Абердине (1494).

В Италии на короткое время появляются университеты в Модене, Реджо-Эмилии, Виченце, Ареццо, Верчелли, Сиене, Триесте — нередко из-за ухода преподавателей и студентов из Болоньи и других мест. В Неаполе университет основывается Фридрихом II как орудие войны против папства; он блистал лишь в годы царствования этого монарха. Другие университеты имели значение только по мере их поддержки итальянскими князьями, желавшими возвыситься с их помощью свои государства. Главным из них был Падуанский университет, основанный в 1222 году и с 1434 года ставший университетом Венецианской республики. В 1244 году Иннокентий IV основывает университет при папской курии: папы старались оживить его деятельность в XIV-XV веках по мере укрепления их власти в Папской области. В Сиене университет существовал с 1246 года, был переоткрыт в 1357 году буллой императора Карла IV, а затем вновь папой Григорием XII, даровавшим университету новые привилегии. Университет Пья-ченцы, номинально основанный в 1248 году, был воскрешен Джан Галеаццо Висконти в 1398 году, дабы стать интеллектуальным центром Миланского государства. Эту роль он передал в 1412 году Павии, где университет появился после 1361 года. Между 1349 и 1472 годами важную роль первого центра гуманизма играла

Флоренция. Но в ту эпоху Лоренцо Великолепный предпочел ей Пизу в качестве университетского центра своего государства: университет существовал там с 1343 года. Семейство Эсте возобновило в 1430 году деятельность университета в Ферраре, основанного в 1391 году. Герцогство Пьемонт с 1405 года имело свой университет в Турине, который извещал немало трудностей. Альфонсо Великолепный, король Арагона и Сицилии, с помощью папы Евгения IV основал университет в Катании в 1444 году.

Примером регионализации университетов может служить Франция. Помимо университетов Парижа, Монпелье и Орлеана, родившихся из уже известных в XII веке школьных центров, помимо университета Анжера, история которого темна, в 1229 году появляется университет в Тулузе, основанный, как известно, для борьбы с альбигойской ересью. История других возникших в то время университетов эфемерна или туманна: зачастую они возникали благодаря обстоятельствам военного времени. В Авиньоне университет был основан папой Бонифацием VIII в 1303 году, но процветал он только во времена пребывания пап в этом городе. В Гренобле он был открыт дофином Умбертом II и прозябал с 1339 года. В Оранже, имперском городе, университет преуспевал лишь в период между 1365 и 1475 годами. Людовик II Провансальский — согласно терминологии, применяемой для наций в Монпелье — с 1409 года зазывал в Экс бургундцев, провансальцев, каталонцев. Дольский университет, основанный Филиппом Добрым, герцогом Бургундским, с помощью папы Мартина V, исчезает в 1481 году. В Балансе университет был обязан своим существованием дофину, будущему Людовику XI; его деятельность сводилась к преподаванию права с 1452 года. Сделавшись королем, Людовик XI основал университет в своем родном Бурже в 1464 году. Герцог Бретонский в Нанте в это же время (в 1460 году) создает университет, который в 1498 году был открыт заново Карлом VIII.

Раздел Франции между англичанами и Карлом VII породил три процветающих университета: в Кане (1432) и Бордо (1441) с английской стороны; в Пуатье (1441) — с французской. Если не брать Монпелье с его медицинской специализацией, то Париж оставался главным интеллектуальным центром французских земель, равно как и тех, что находились в орбите Франции.

Это увеличение числа университетов если не свело на нет, то, по крайней мере, существенно уменьшило международный характер важнейших университетов. В любом случае оно разрушило систему наций, которая ранее была столь важным элементом университетской структуры. Перл Кибр проследил это исчезновение университетских наций на протяжении XIV-XV веков.¹

Университетские мэтры и политика

Процесс укрепления университетов был частью эволюции, превращавшей большие университеты в политическую силу конца Средних веков. Они играли активную роль, выходя иной раз на первый план в борьбе между государствами; становились театром, на сцене которого разыгрывались жесточайшие кризисы, поскольку университетские «нации» вдохновлялись теперь национальным чувством, а сами университеты интегрировались в новые структуры национальных государств.

Рассмотрим вкратце эту эволюцию, бросив взгляд на политический аверроизм Оккама и Марсилия Падуанского, на кризис в Праге и на политическую роль Парижского университета.

Жорж де Лагард в знаменитой серии исследований о *Рождении светского духа на закате средневековья* дал проницательный анализ ряда тезисов, а также политической деятельности Уильяма Оккама и Марсилия Падуанского. Хотя между воззрениями этих двух мыслителей имелись важные различия, оба они находились подле императора Людовика Баварского в первой половине XIV в. и вели общую борьбу против папства с его притязаниями на светскую власть.

Их полемическая и теоретико-политическая активность способствовала появлению шедевра Марсилия Падуанского *Defensor Pads*. Легко заметить, какие традиции, помимо духа итальянских коммун, вдохновили автора на написание данного труда. Прежде всего, это — традиция гибелинов, противившихся папским претензиям на светскую власть, придерживавшихся принципа разделения духовной и мирской властей и отдававших последнюю императору. С философской точки зрения это — аверроистская традиция, предлагающая иную, чем в томизме, интерпретацию

¹ The nations in the medieval universities,

Аристотеля. В области социальной философии эта традиция завершается эмпиризмом, который не вполне точно определяют как *натурализм* из-за того, что он склонялся к *освобождению политики от морали*, к тому, чтобы отдать предпочтение индивидуальной воле, а не сущностной объективной реальности, к тому, что социальный *порядок сводится к механическому равновесию*, а природа подменяется *договором*. К этому добавляется влияние законников из клана Дюбуа-Ногарэ, который, находясь в окружении Филиппа Красивого на грани XIII–XIV веков, уже вел ожесточенную борьбу против папства, отстаивая зарождающуюся монархию.

Следствием стала доктрина полноты государства, утверждение его автономии, покоящейся на разделении права и морали. Позитивистская концепция социальной жизни ведет к признанию божественных прав за утвердившимся социальным порядком. *Если вы противитесь светской власти, даже при том, что ее носители не верны религии или извращают ее, то вы подлежите вечному проклятию...* Всемогущее государство требует всех прав в социальной жизни, всеми силами утверждая единство этой жизни: оно имеет законодательную, исполнительную и юридическую власть. Оно универсально: на отданной ему территории ни один подданный не может избежать власти государя. В конечном счете, мирское государство не довольствуется тем, чтобы оттеснить церковь в духовную сферу. Государство притязает на некую духовную миссию, на право командовать и этой сферой. Наконец, исчезает всякое различие между духовным и временным: *Без сомнения, законодательство человеку не принадлежит... творение или приостановление духовных правил, поскольку последние суть не что иное, как предписания или дозволения самого Бога. Но человеку — законодателю или судье — принадлежит дознание всех законных или незаконных действий, совершаемых или не совершаемых людьми, мирянами или священниками, черным или белым духовенством, идет ли речь о вещах духовных или вещах временных, с тем условием, что это не касается чисто духовных материй...* Кажется, здесь мы слышим Лютера: *Все, что не относится к жизни по благодати, все, что материализуется в жизни церкви и мира, принадлежит государству. Все, что относится к исполнению морального закона в веке сем, отходит от церкви и переходит к государству.*

Эта доктрина взрывоопасна, она пройдет свой путь и заявит о себе в мыслях столь разных лиц, как Макиавелли и Лютер, Гоббс и Руссо, Гегель и Огюст Конт, Ленин и Шарль Моррас.

Но что отличает Оккама и в особенности Марсилия Падуанского от традиции гибелинов, так это полное отсутствие мечтаний об объединении в одной светской империи если не всего человечества, то хотя бы всего христианского мира.

Марсилиус Падуанский в этом целиком противостоит Данте, для которого император должен был восстановить такое фундаментальное единство. Схоластическая политика искала способа распространения на всех людей полиса Аристотеля, преобразованного в христианский град. У Марсилиуса политика предполагает многообразие наций и государств. В *Defensor Pacis* мы читаем: *Можно задаться вопросом, следует ли всем людям, живущим в гражданском состоянии и населяющим поверхность земного шара, иметь единственного верховного правителя или же, напротив, предпочтительно, чтобы в разных краях, разделяемых географическими, языковыми или моральными границами, каждое сообщество обрело то правление, какое ему подобает. Кажется, предпочтительнее второе решение, в коем следует видеть воздействие небесной причины, желающей ограничить беспредельное размножение человеческого рода. Действительно, можно считать, что природа решила умерить это размножение войнами или эпидемиями, подбрасывая человеку трудности на каждом шагу.*

Политический окказимизм и аверроизм отстаивают экстремистский тезис, крайне далекий от условий XIV века, хотя и получивший тогда широкую известность. Но они соответствуют общей тенденции, заявляющей о себе в интеллектуальном переосмыслении политических перемен. Мысль принимает распад единства, она соглашается на разделение и участвует в расколе христианского мира. Она приемлет партикуляризм.

Первый национальный университет: Прага

Мысль принимает даже национальное чувство. Мы наблюдаем это в Праге. Университет здесь был основан в беспокойной обстановке. Подобно всем университетам, он был международным, но постепенно им завладели немецкие преподаватели и студенты,

число которых увеличивалось в связи с их оттоком из Парижа во время Великой схизмы. В Праге они сталкиваются с чешским началом, все более осознающим свою самобытность и свои устремления. К оппозиции этнической прибавляется оппозиция корпоративная: господство немецкой *нации* над чешской сказывается на распределении кафедральных и университетских постов между представителями этих двух групп. За этим выстраивается социальная оппозиция: чехи опираются на низшие классы — крестьян и ремесленников, тогда как утвердившиеся в этой стране немцы представляют, прежде всего, богатую городскую буржуазию, большую часть дворянства и духовенства.

Взрыв произошел после появления Яна Гуса. Вместе со своими друзьями он привлек философскую и богословскую доктрину, многим обязанную Оксфорду и, в особенности, Виклифу. Гус налаживает связь между университетской средой и народным окружением Праги и Богемии, воодушевил их своим красноречием и своей страстностью, оказал эффективное давление на слабого короля Богемии Венцеслава IV. Конфликт разрешился в пользу чехов королевским декретом 1409 года, оглашенным на Кутной

Прага, Munster



горе. Теперь среди *наций* первенство было за чехами, а все члены университета должны были приносить присягу на верность богемской короне. Немцы покидают Пражский университет и основывают собственный в Лейпциге. Это важная дата средневековой истории: рождается национальный университет, интеллектуальный мир отливается в политические формы.

Путь, который вел к интеграции Парижского университета в национальную монархию, был полон превратностей.

Париж: величие и слабость университетской политики

Из-за отъезда множества англичан во время Столетней войны и немцев в период Великой схизмы Парижский университет по своему составу становится все более французским. По крайней мере, со времени правления Филиппа Красивого он играет значительную политическую роль. Карл V называл его *старшей дочерью Короля*. Университет официально представлен на национальных соборах французской церкви, на ассамблее Генеральных штатов. Он выступает как посредник во время борьбы двора с парижанами, возглавляемыми Этьеном Марселем, во время восстания майотенов; подпись представителя университета стоит под договором в Труа.

Престиж университета огромен. Это объясняется не только числом студентов и преподавателей, но и окончивших его магистров, которые занимают первостепенные должности по всей Франции и за ее пределами, сохраняя с университетом тесные связи.

Вместе с тем он связан и с папским престолом. К тому же все авиньонские папы — французы, они явно покровительствуют университету, притягивают его к себе щедрыми дарами. Каждый год в Авиньонский дворец направляется *rotulus nominandorum*, свиток с именами мэтров, за которых университет нижайше просит папу о кормлении или о церковном бенефиции. Университет был не только *старшей дочерью Короля*, но и *первой школой Церкви*, играя роль международного арбитра в богословских вопросах.

Схизма поколебала это равновесие. Поначалу университет

встал на сторону Авиньонского папы, но затем, устав от возрастающего лихоимства папы, озаботившись восстановлением единства церкви, он оставляет решение за королем Франции, а сам неустанно призывает к соборному воссоединению, дабы положить конец расколу путем отречения соперничавших первосвященников. Одновременно университет отстаивает верховенство собора над папой, относительную независимость национальной церкви от святого престола, то есть галликанство. Но если первое требование подняло престиж университета в христианском мире, то второе привело к охлаждению в отношениях с папством и к растущему влиянию на него монархии.

Казалось, был достигнут полный успех. Собор в Констанце, где университет сыграл роль лидера, освящает этот триумф. Кстати, на нем обозначились любопытные позиции части университетских мэтров. Как это показал Э. Ф. Джекоб¹, английские мэтры неожиданно принимают сторону папства по вопросу о назначении бенефициев: их заботят собственные интересы, а папская сторона неплохо обслуживала таковые.

Но Базельский собор, на котором мэтры играли лишь незначительную роль, заканчивается полной победой папства. Тем временем разыгрывается уже сугубо французский кризис, сильно подорвавший позиции Парижского университета.

К прочим неприятностям правления Карла VI добавляется восстание кабошьенов в Париже, а затем, при разделе страны между англичанами и французами, Париж становится столицей английского королевства. Конечно, университет не сразу перешел на сторону бургундцев, да и перешедшие составляли лишь часть его. Герцог опирался на нищенствующие ордена, с которыми университет традиционно не ладил. Университет осудил и подверг преследованию Жана Пти, апологета убийства герцога Орлеанского. В момент взятия города англичанами многие мэтры покинули Париж, находились в окружении дофина и составляли административный костяк его королевства в Бурже, либо обживали новый университет в Пуатье.

Но те, кто остался в Париже, *обургундились* и подчинились воле англичан. Самым известным эпизодом этого *английского* периода Парижского университета были его действия против

¹ Bulletin of the John Rylands Library, 1946.

Жанны д'Арк. Заявляя о своей к ней враждебности (вопреки Жерсону), университет хотел не только угодить иностранному хозяину. Он следовал при этом и за народным мнением, которое было чрезвычайно враждебно к Орлеанской деве, свидетельством чему можно считать хотя бы *Парижского Буржуа*. Это показывает, насколько самодовольные интеллектуалы были не способны выйти из своей ученой гробницы, столкнувшись с героической наивностью, с простодушным неведением Жанны. Известно, что университет руководил направленным против нее процессом и с нескрываемым удовлетворением сообщил о ее осуждении английскому королю.

Пепел костра в Руане запятнал престиж университета. Отвоевав Париж, Карл VII, а за ним и Людовик XI с недоверием относятся к «коллорационисту», хотя университет стоял на стороне их галликанской политики и решительно поддержал прагматическую санкцию.

В 1437 году король лишает университет налоговых привилегий и принуждает внести свой *вклад* в повышение подати для отвоевания Монтере. В 1445 году у него отнята судебная привилегия, университет становится подвластным решениям парламента. Король поддерживает реорганизацию университета, осуществляемую папским легатом, кардиналом д'Этувилем, в 1452 году. В 1470 году Людовик XI обязывает мэтров и студентов из Бургундии присягать ему на верность. Наконец, в 1499 году университет теряет право на забастовку. Отныне он в руках короля.

Что стало с духом образования на протяжении всех этих сражений? Образование претерпело двоякую эволюцию, которая позволит нам лучше понять отношения между схоластикой и гуманизмом, разглядеть нюансы в этой оппозиции, проследить передачу факела разума на переходе от одного периода к другому.

Склероз схоластики

Несмотря на интересные попытки обновления, несмотря на построения Николая Кузанского, желавшего совместить традицию с новыми потребностями, схоластика чахнет. К тому же она не перестает терзать саму себя. По одну сторону стоят *старые*, каковыми теперь оказываются выдохшиеся в своих умствовани-

ях аристотелики и томисты. По другую сторону помещаются *новые* — под стягом оккамовского номинализма. Но они с головой ушли в изучение формальной логики, в бесконечные разглагольствования по поводу значения слов, в искусственные деления и подразделения — в то, что называется *терминизмом*. В 1474 году старые получают от Людовика XI запрет на преподавание, а за ним следует эдикт от 1481 года, налагающий запрет и на их книги. Самыми активными были последователи Дунса Скота, которые безуспешно пытались сочетать все более впадающий в пустословие критицизм с волюнтаристическим фидеизмом, становящимся у них все более туманным. Они станут любимым объектом нападок Эразма и Рабле, которые обрушат на них иронию и сарказм, сделав прототипами всей схоластики *скотистов*. Рабле причешет всех схоластов под одну гребенку и занесет их в шуточный каталог: его, как известно, листает в библиотеке Сен-Викторского аббатства юный Пантагрюэль. В нем перемешаны и осмеяны Фома Брико, *зело хитроумный толкователь номиналистов*, Пьер Татерэ, глава парижских скотистов после 1490 года, Пьер Крокар, обновитель томистского преподавания, известные оккамысты: Ноэль Бедье, Джон Майр (Майор), Жак Эльмен.

Над этим пустословием смеется и Вийон, рассеянное ухо которого лучше прочих расслышало на лекциях в Сорбонне лишь пустые переливы словес.

*Пока я в добром настроеньи
Предуказанья составлял,
Как и всегда, к богослуженью
Вечерний колокол призвал.
Он о спасении вещал,
Что предрекает Анжелюс,
И я писание прервал,
Решивши тут же: помолюсь.
Вдруг что-то сделалось со мной,
Сознанье разом мне затмило,
Но было не вино виной;
То Дама-Память все взмутила
И вновь в укладке разместила
С набором средств необходимых,*

*Чтоб суть постичь возможно было
Познаний истинных и мнимых:
Условия формирования,
Оценочные означенья,
Взаимопреобразования
Отождествленья и сравненья.
От этого столпотворенья
Любой лунатиком бы стал
Иль спятил.
Я сие ученье У Аристотеля
читал.*

(Пер. Ю. Кожевникова)

Именно такая извращенная, карикатурная, умирающая схоластика отвергалась гуманистами.

Университеты открываются гуманизму

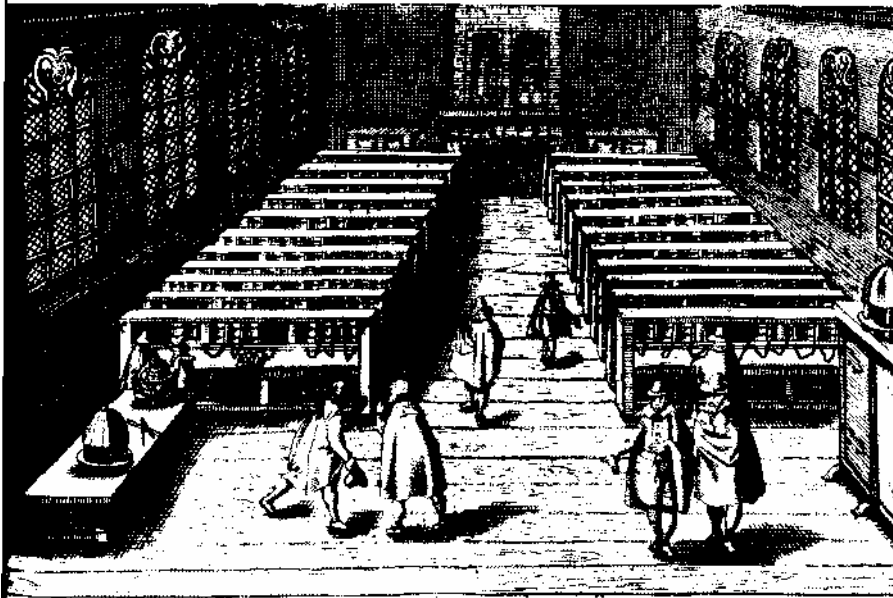
И все же университетское образование открывалось для новых вкусов. Прежде всего, в итальянских университетах, поскольку здесь схоластика не имела таких традиций, как в Париже или в Оксфорде; здесь лучше сохранились традиции античной литературы, здесь она раньше пробудилась — то ли вместе с возобновлением памяти о Риме, то ли с притоком византийской учености, которая перед лицом турецкой угрозы обратилась к эллинизму. В Болонье Пьетро ди Мульо с 1371 по 1382 год учит риторике, которая затем переходит Колюччо Салютати. Здесь с 1424 года начинают учить греческому, и Филельфо удается обратить к нему ранее безразличных к греческому студентов. Между 1450 и 1455 годами знаменитый кардинал Виссарион реорганизует университет, будучи папским правителем города и ректором. Преподавание *гуманитарных наук (studio humanitatis)* с тех пор не прекращается в Болонье.

В Падуе этот процесс начинается еще раньше, а в XV веке, вместе с присоединением города к Венеции, тут получает блестящее развитие преподавание греческого, которым восхищался Альдо Мануццио. Вслед за Гуарино, Филельфо, Витторио ди Фельтро эту традицию продолжают византийские изгнанники во главе с Деметрием Халкидонским и Марком Мусуросом. Влияние

Виссариона в Падуе было даже более глубоким, чем в Болонье.

Рождающиеся синьории способствуют этому процессу. Во Флоренции наряду со знаменитой платоновской академией существует университет, где Амвросий Камальдильский, Ауриспа, Гварино, Филельфо толкуют Цицерона и Теренция, Лукиана, Пиндара, Демосфена, Плотина, Прокла, Филона, Страбона. Когда Лоренцо Великолепный в 1472 году переносит университет из Флоренции в Пизу, то сразу же создаются кафедры поэзии, красноречия, математики и астрономии. Висконти, а за ним и Сфорца делают то же самое в Павии, отношения которой с Францией будут очень тесными в XV веке и на протяжении итальянских войн. В Ферраре Эсте следуют этой политике и призывают в качестве профессора и ректора одного из лучших эллинистов того времени Теодора Газу. В римской *Sapience* мы наблюдаем такое же рвение к классической литературе: ее преподают Филельфо, Энос д'Асколи, Аргиропуло, Теодор Газа.

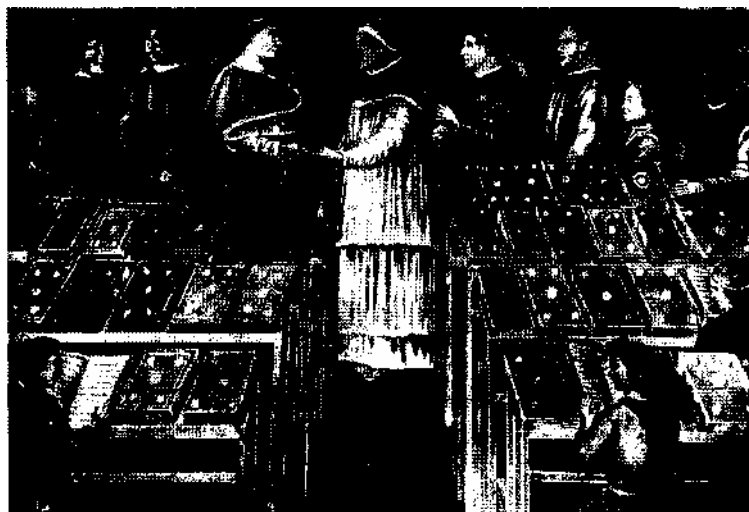
Но ни Оксфорд, ни Париж не остались непроницаемыми для гуманизма; не избежала этого и Прага, где в середине XIV века при дворе Карла IV и вокруг нового университета образуется



кружок утонченных гуманистов, открытых итальянским влиянием, — от Петрарки до Кола ди Риенцо. Уже в начале XIV века преподававший в Оксфорде, Лондоне и Париже Никлас Трайвет комментирует *Декламации* Сенеки Старшего и трагедии Сенеки Младшего, а также Тита Ливия. Распространению духа гуманизма в Оксфордском университете во многом способствуют дары герцога Хэмфри Глочестерского (в 1439 и в 1443 годах) из своей библиотеки, богатой как трудами греко-латинских классиков, так и итальянцев. Оксфорд готовится к лекциям Линакра, Гроцина, Колета, Томаса Мора. Он ждет Эразма.

Первое поколение французских гуманистов — Жак де Монтрей, Николя де Кламанж, Гонтье Коль, Гийом Фийастр — сохраняло связи с Парижским университетом. В письме Гийому Фий-астру Жак де Монтрей восхваляет канцлера университета Жер-сона в качестве гуманиста: *Хотя ты известен тем, что от тебя ничто не ускользает из заслуживающего познания, и тому у меня немало свидетельств, я не перестаю удивляться, что ты не пошел по следам знаменитого парижского канцлера, человека исключительной культуры. Не стану говорить о его жизни или нраве, ни даже о его учености в области христианской религии или теоретического богословия, в коих вы оба достигли больших отличий и высот. Я упомяну лишь его искусство рассказывать и убеждать,*

Интерьер библиотеки Сикста IV. Фреска в больнице Св. Духа, Рим



покоящееся, прежде всего, на правилах риторики и красноречия, благодаря которым это искусство достигается и без которого выразительность, кажущаяся мне целью культуры, остается бездейственной, пустой и бессодержательной... Богослов Гийом Фише, который в 1470 году установил печатный станок в коллеже Сорбонны, был другом Виссариона, мечтал о возрождении платонизма, стремился сочетать свое восхищение Петраркой с почитанием томистской традиции. Робер Гаген, декан факультета канонического права, тесно связанный с флорентийцами, собирает вокруг себя восторгавшихся Петраркой гуманистов. Если у Эразма вызвала отвращение варварская дисциплина, царившая при Иоанне Стендонке в коллеже Монтегю, а потому от посещения университета у него осталось лишь презрение к упадочной схоластике, то Жак Лефевр д'Этапль, профессор в коллеже Кардинала Лемуана, распространяет по Парижу одну из чистейших форм гуманизма (об этом стоит перечислить прекрасные страницы Огюстена Реноде).

Но хотя гуманизм и напал в первую очередь на пораженную склерозом схоластику, а университетские мэтры иной раз переходили на сторону гуманизма, то все же существовала глубокая оппозиция между средневековым интеллектуалом и гуманистом Возрождения.

Возврат к поэзии и мистике

Гуманист по сути своей является антиинтеллектуалистом. Он более литератор, чем ученый, скорее фидеист, чем рационалист. Единству диалектики и схоластики он противопоставляет другую пару: филология — риторика. Альберт Великий не считал Платона философом из-за его языка и стиля; у гуманиста он оказывается *Верховным Философом* именно потому, что был поэтом.

Лефевр д'Этапль осуществляет прекрасное издание *Никомаховой этики* Аристотеля, но сам он склоняется к поэтам и мистикам. Его идеал — созерцательное познание. Он публикует *Герметические книги* в переводе Марсилио Фичино — труды Псевдо-Дионисия, созерцания францисканца Раймунда Луллия, мистиков, вроде Ришара Сен-Викторского, святой Хильдегарды



142

Бингенской, Рюисброка и, наконец, Николая Кузанского, сделавшегося апостолом *Ученого незнания*.

Тот же Лоренцо Балла, строгий филолог, пожалуй, наиболее дисциплинированный ум из всех гуманистов Кватроченто, произносит проповедь в римской церкви доминиканцев 7 марта 1457 года в честь св. Фомы Аквинского, заявляя в ней о своих расхождениях с его методом: *Многие убеждены в том, что нельзя стать богословом, не выучив правил диалектики, метафизики и всей философии. Что сказать на это? Убоюсь ли высказать, что думаю? Я восхваляю святого Фому за предельную тонкость выражений, я восхищен его прилежанием, я дивлюсь богатству, многообразию, совершенству его доктрины... Но я не так уж впечатлен так называемой метафизикой, она загромождена познаниями, коих лучше не иметь, поскольку они только мешают знанию лучших вещей. Настоящая теология для него, как и для Лефевра д'Этап-ля, — это теология св. Павла, которая говорит без философского суесловия и обмана (*per philoso-phiam et inanem fallaciam*).*

Философия должна скрываться в складках риторики и поэзии. Ее совершенной формой является платоновский диалог.

Показателен спор по поводу перевода Аристотеля в первой половине XV века, в котором столкнулись схоласт и гуманист.

Вокруг Аристотеля: возвращение к прекрасному слогу

Леонардо Бруни опубликовал во Флоренции новый перевод *Никомаховой этики* Аристотеля. Этот труд, по его словам, был необходим, поскольку старый переводчик (Роберт Гроссетест, а не Вильгельм Мёрбеке, как считалось, который работал для св. Фомы) плохо знал и греческий, и латынь, комментируя текст с ошибками и к тому же делая это варварским языком.

Кардинал Алонсо Гарсия Картахенский, епископ Бургоса и профессор Саламанкского университета, резко ему возражал.

Он отлично понимал, что спор касается формы и сущности. Для гуманистов первая являлась всем, тогда как для схоластов форма представляла собой лишь служанку мысли.

Мой ответ, — пишет Алонсо Гарсия, — *таков. Хотя Леонардо проявил достаточно красноречия, он показал малую философ-*

скую культуру. Алонсо обращает внимание на ошибки в передаче аристотелевских мыслей, совершенные гуманистом, стремящимся к красоте слога; он защищает старого переводчика, поясняя его намерения: *Он не просто перевел книги Аристотеля с греческого на латынь, но также истолковал их со всей возможной истинностью. Если бы он того хотел, то от него не ускользнули бы ни величайшая элегантность, ни прекраснейшие украшения... Однако старый толкователь стремился в первую очередь к философской истине и не хотел избытка прикрас, дабы избежать ошибок, в которые впал новейший интерпретатор. Тот прекрасно видел, что латинский язык не смеет надеяться на равное с греческим богатство выражений.*

Он дает гуманисту урок исторической филологии: *Латинский язык не переставал заимствовать не только у греков, но также у варварских народов, у всех племен земных. Так, он впоследствии обогатился галльскими и германскими словами. Не лучше ли воспользоваться кратким и точным эквивалентом народного языка, чем обращаться к долгим периодам классической латыни?*

Тот же отклик и у схоласта Джона Майра, которого раздражают насмешки *эразмистов* и *фабристов* над варварством готики: *Наука не нуждается в прекраснословии.*

Конечно, схоластическая латынь умирала и служила она для выражения окаменевшей науки. Национальным языкам принадлежало будущее, они отвоевывали свое высокое место, и гуманисты им в этом помогали. Но латынь гуманистов окончательно сделала из нее мертвый язык. У науки был отнят единственный международный язык, которым она могла пользоваться, помимо цифр и формул. Она сделалась сокровищем без употребления в руках элиты.

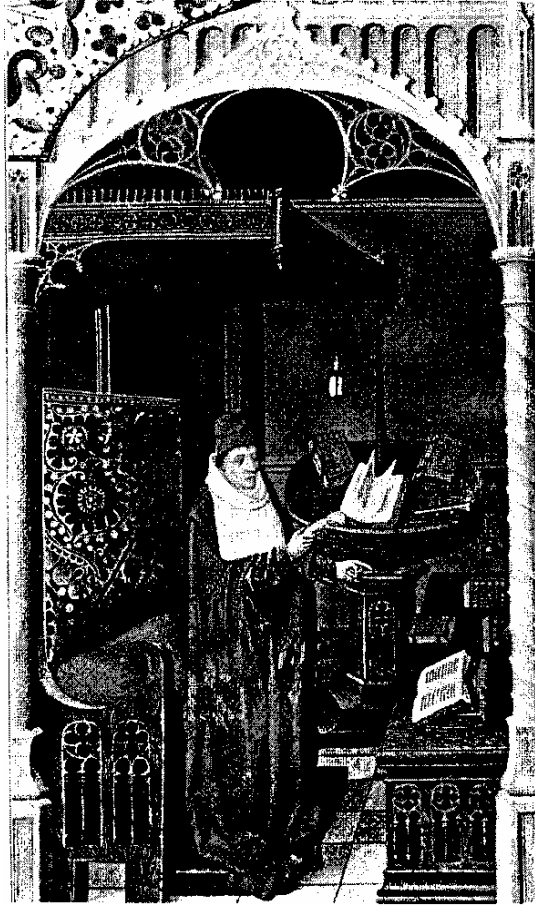
Гуманист-аристократ

Гуманист представляет собой аристократа. Хотя интеллектуал Средних веков, в конце концов, предал свое призвание труженика науки, сделал он это, отрекаясь от собственной природы. Гуманист же с самого начала притязает на гениальность, даже если сам он корпит над текстами, а его красноречие полито потом. Он



Эразм Роттердамский. Дюрер

Профессор, обращающийся к аудитории



пишет для посвященных. Когда Эразм опубликовал свои Адагии, его друзья корили его: *Ты раскрыл наши таинства!*

Да, среда, в которой рождается гуманист, изрядно отличается от лихорадочной городской стройки, открытой всем и каждому, заботящейся об общем продвижении вперед всех техник, объединяемых общей экономикой, от стройки, на которой сформировался средневековый интеллигент.

Окружение гуманиста — это группа, это закрытая *Академия*, и если истинный гуманист завоевывает Париж, то учит он не в университете, но в созданном для элиты институте — *Коллеже королевских чтецов*, будущем Коллеж де Франс.

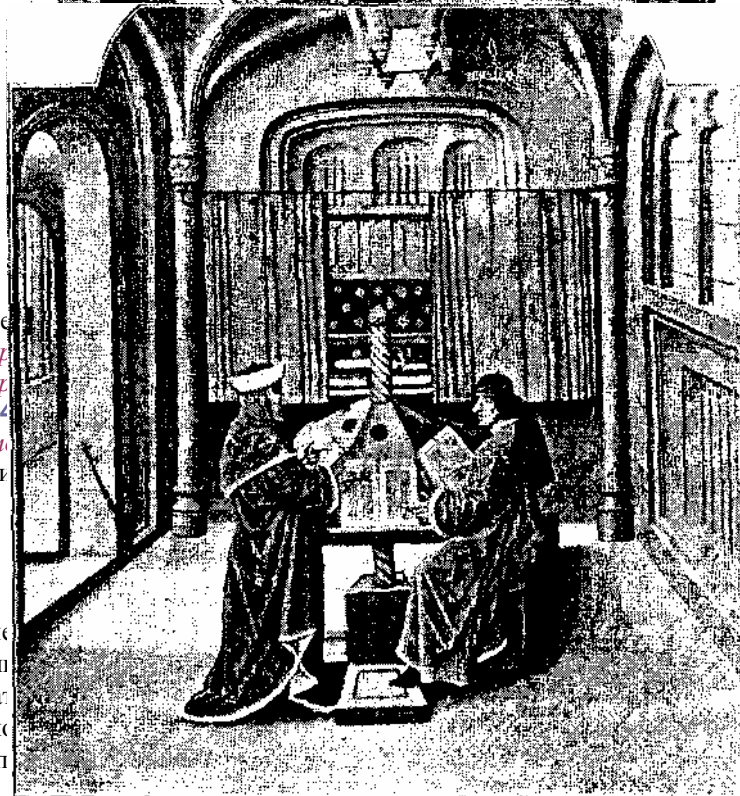
Его среда — это двор государя. Ведя филологический спор с Леонардо Бруни, Алонсо Гарсиа, кажется, уже чувствует это: *«Учтивость» означает для вас «человечность», она и в словах, и в жестах идет у вас впереди всех почестей. Имя «учтивые» вы даете тем, кто привык преклонять колени, приспускать свой капюшон, отказываться от старшинства и первенства даже среди равных. Но мы-то называем таких «curiales», и если тебе не нравится это слово, поскольку оно имеет другой смысл в гражданском праве, то, коли дозволишь мне воспользоваться просторечием, назовем их «куртизанами», а их «учтивость» назовем «придвор-ностью», либо, если воспользоваться словом из рыцарского языка, мы называем ее «куртуазностью».* Бальтазар Кастильоне чуть меньше века спустя резюмирует социальный идеал гуманистов в *II Cortegiano*, «Придворном».

Этимология здесь целиком передает смысл. Из мира города (*urbs*) мы вновь вернулись к миру двора. Отличаясь от средневековых интеллигентов иной культурой ума, гуманисты еще дальше ушли от них в социальном плане.

Протекция сильных мира сего, сановников, материальное богатство — вот изначальное местоположение гуманиста. Гонтье Коль был сборщиком податей во Франции и в Нормандии (где он занят спекуляциями вместе с Карлом Наваррским), секретарем герцога Беррийского. Затем нотариусом, секретарем короля, главным контролером финансов, одним из двух казначеев короля, а потому ему поручаются важные миссии и посольства. Его ненавидел народ, его дворец был разграблен кабошьенами. Будучи потомком богатых буржуа, он получил возможность предаваться ученым изысканиям. Покровительство меценатов и дан-

ные ими поручения он использовал для приумножения своих богатств. Получив дворянство, он владеет многими домами в Сансе, ему принадлежит поместье Парой с виноградником, дворец в Париже на улице Вьей-дю-Тампль. Он живет на широкую ногу, имеет много слуг, ковров, лошадей, собак, соколов, он страстный игрок. Все это не мешает ему на манер древних восхвалять *sancta simplicitas*. Он состоит при *дворе любви* Карла VI, где председательствуют герцоги Бургундский и Бурбонский. Жан де Монтрей копит покровителей и должности: он является секретарем короля, дофина, герцогов Беррийского, Бургундского, Орлеанского; любит похвастаться своими связями

В библиотеке



пе
тр
др
14
сам
он

о ч
пол
пла
хол
вып

Гражданская жизнь осталась за государем. Гуманисты часто служат ему, но всегда уступают ему бразды правления обще-

ством. Они работают в тишине. Они хвастаются досугом, покоем, в котором они занимаются литературой — *otium* античной аристократии. *Не стесняйся той замечательной и славной лени, которой всегда наслаждались великие умы,* — пишет Николя де Кламанж Жану де Монтрей.

Возвращение за город

Для человека, изысканного и предающегося на досуге свободным штудиям, нет лучшего места, чем за городом. Так завершается движение, которое уводит интеллектуала за городские стены. Оно целиком и полностью соответствует экономической и социальной эволюции. Разбогатевшие буржуа и князья вкладывают свои капиталы в землю, возводят виллы или дворцы, скромность или роскошь которых зависит от их достатка. Академия флорентийских неоплатоников собирается на вилле Медичи в Кареджи.

Жан де Монтрей, Николя де Кламанж, Гонтье Коль владеют виллами, куда они удаляются для обретения досуга гуманиста. Жан де Монтрей хвалит тишину аббатства Шали, Николя де Кламанж — покой приорства Фонтэн-о-Буа. Здесь они вновь находят *внутреннего человека* св. Бернарда, но теперь с помощью Цицерона и Горация. *Покидая помпезность двора и шум городов, ты поселишься в деревне, и ты возлюбишь одиночество,* — пишет Жан де Монтрей.

А вот начало *Пира религии* Эразма:

Евсевий: *Теперь, когда все зеленеет и радуется в полях, я дивлюсь тому, что есть люди, наслаждающиеся копотью городов.*

Тимофей: *Не все любят вид цветов и зеленеющих полей, ручьев и рек, а если и любят, то предпочитают им другое. Одно желание гонит другое, как клин клином вышибают.*

Тимофей: *Да, но не они одни, друг мой, и я думаю о бесчисленной толпе, вплоть до священников и монахов, которые, несомненно, из любви к барышам предпочитают жить в городах, да еще в самых многолюдных, следуя в этом мнению не Пифагора или Платона, но какого-то слепого нищего, коему сладостно находится сдавленным в толпе, ибо, как он говорит, там, где есть народ, там есть чем поживиться.*

Евсевий: *К черту слепцов с их барышами: мы-то философы.*

Тимофей: А ведь Сократ, хотя и был Философом, но предпочитал полям города, поскольку жадно стремился к знанию, а города суть места, где можно научиться. В полях, говорил он, есть деревья, сады, источники, реки, дающие пищу глазу, но они ничего не говорят, а потому ничему не учат.

Евсевий: Сказанное Сократом имеет смысл лишь в том случае, если ты ходишь по полям в одиночестве. Да и природа, на мой взгляд, не является немой. Она со всех сторон обращается к нам, она способна научить созерцающего ее, если обращается к внимательному и терпеливому. Разве столь сладостный облик весенней природы, не говорит нам непрестанно о мудрости божественного демиурга, сопоставимой с благом? И разве Сократ, удалившись из города, не научил многому своего Федра, да и не научился сам?

Тимофей: Если найдешь несколько себе подобных, то нет ничего приятнее пребывания за городом.

Евсевий: Не хочешь ли рискнуть? У меня есть неподалеку небольшое поместье, оно невелико, но славно ухожено; я вас приглашаю там отобедать.

Тимофей: Нас ведь немало, в твой дом не поместимся.

Евсевий: Не важно! Пировать будем по-деревенски; устроим праздник, который, как говорит Гораций, не был куплен. Вино на месте; растения сами нам протягивают дыни, арбузы, фиги, груши, яблоки, орехи, словно на Островах Блаженных, если верить Лукиану. Добавим к ним, разве что, курицу.

Тимофей: Хорошо, мы принимаем приглашение.

Разрыв между наукой и преподаванием

Так, гуманисты оставляют одну из основных обязанностей интеллектуала — контакт с народной массой, связь науки и образования. Безусловно, в перспективе Возрождение принесет человечеству жатву горделивого и одинокого труда. Его наука, его идеи, его шедевры будут питать прогресс человечества. Но поначалу это было свертыванием, отходом. Пока не получила широкого распространения культура письменности, даже типография поначалу способствовала сужению поля мысли. Она осыпала дарами тех, кто умел читать, небольшую элиту счастливых. Другие уже не питались даже крохами со стола схоластики, которые

доносились до них проповедниками и артистами Средних веков, получившими университетское образование. Нужно было дождаться Контрреформации, чтобы получило распространение искусство, которое — пусть в не бесспорной форме, но с дидактическими и апостолическими целями — попыталось найти способ участия народа в культурной жизни.

Ничто так не поражает, как контраст между образами, в которых предстает труд средневекового интеллектуала и гуманиста.

Один изображается как профессор, с головой ушедший в преподавание, окруженный учениками, сидящими на скамьях или теснящимися в аудитории. Другой — как одинокий ученый в тиши кабинета, посреди богато убранной комнаты, где ничто не мешает потоку его мыслей. Там — шум школы, пыль залов, безразличный к убранству коллективный труд.

*Здесь все — порядок, красота,
Покой, богатство, нега.*

Хронологические ориентиры

- 751-843 Династия Каролингов 1121-1158 Латинский
перевод *Новой Логик* Аристотеля
Ок. 1121 *Sic et non* Абеяра
- 1126-1198 Аверроэс
1140 Декрет Гратиана
1141 Собор в Сансе. Осуждение Абеяра
1143 Перевод *Планисферы* Птолемея
- 1144-1203 Алан Лилльский
1145 Роберт Честерский переводит *Алгебру* Аль-Хорезми
1146 Бернард Клервоский проповедует Второй крестовый
поход
Ок. 1147 *Песнь о моем Сиде*
1148 Собор в Реймсе. Осуждение Гильберта Порретанского
1154 Привилегии Фридриха Барбароссы мэтрам и студентам
Болоньи 1163 Александр III запрещает монахам
занятия медициной и
правом
- 1163-1182 Возведение собора Нотр-Дам в Париже
- 1167-1227 Чингизхан
1174 Привилегии Целестина III преподавателям и студентам в
Париже
- 1180 Настоятель собора Нотр-Дам в Париже основывает первый
колледж — «Восемнадцати» 1182-1226 Франциск Ассизский
1197 Саладин захватывает Иерусалим
1200 Привилегии Филиппа-Августа Парижскому университету
- 1206-1280 Альберт Великий
1208 Основание ордена братьев-проповедников
1209 Первая францисканская община
- Ок. 1214-1294 Роджер Бэкон
1214 Первые привилегии в Оксфорде
1215 Статут Роберта де Курсона в Парижском университете

- 1226-1270 Правление Людовика IX Святого
 1221-1270 Св. Бонавентура
 1224-1274 Св. Фома Аквинский
 1230-1250 Знакомство западных университетов с Аверроэсом
 Ок. 1235 — ок. 1282 Сигер Брабантский
 1235-1315 Раймунд Луллий
 1240 Роберт Гроссетест переводит *Этику* Аристотеля
 1245-1246 Преподавание Альберта Великого в Париже
 1248-1254 Крестовый поход Людовика Святого
 1248-1255 Преподавание Бонавентуры в Париже
 1252-1259 Преподавание Фомы Аквинского в Париже
 1254-1323 Марко Поло
 1257 Роберт де Сорбон основывает в Париже коллеж для теологов
 1260-1327 Мейстер Экхарт
 1265 Фома Аквинский начинает работу над *Суммой теологии*
 1265-1321 Данте
 1266-1268 Роджер Бэкон: *opus majus, opus minus, opus terciūm*
 1270 Первое осуждение Сигера Брабантского и аверроизма
 1276 Вторая часть *Романа о Розе* Жана де Мена
 1277 Осуждение аверроистской доктрины и томистских тезисов
 1282 Адам Галльский *Игра Робина и Марион*
 1291 Потеря Сент-Жана д'Акра
 1293-1381 Рюисброк
 1294-1303 Папа Бонифаций VIII
 Ок. 1300-1361 Таулер
 Ок. 1300-1365 Сузо
 Ок. 1300 — ок. 1368 Жан Бурidan
 1304-1374 Петрарка
 1309 Папа Климент обосновывается в Авиньоне
 1312 *Ад* Данте
 1313-1375 Бокаччо
 1329 Осуждение Мейстера Экхарта
 1337 Начало Столетней войны. Первое осуждение оккамизма Парижским университетом
 1337-1410 Фруассар
 1340-1400 Чосер
 1349-1353 *Декамерон* Бокаччо
 1377 Папа Григорий XI возвращается в Рим
 1379 Основание *Нового колледжа* в Оксфорде
 1387-1455 фра Анжелико
 1395 Жерсон становится канцлером Парижского университета
 1401-1464 Николай Кузанский
 1402 Ян Гус — ректор Пражского университета
 1407-1457 Лоренцо Валла
 1413 Восстание кабошьенов в Париже
 Ок. 1420 *Подражание Христу*

- 1424 Ауриспа — первый профессор греческого в Болонье Ок.
1425-1431 *Мистический агнец* Яна ван Эйка 1430-1470 Франсуа Вийон
- 1431 Папа Евгений вводит гуманитарные науки в университете Рима 1433-1499
- Марсилио Фичино
- 1440 *Об ученом незнании* Николая Кузанского
- 1450 Иоганн Гутенберг открывает печатную мастерскую в Майнце 1450-1537
- Лефевр д'Этабль
- 1453 Взятие Константинополя турками
- 1463-1536 Пико делла Мирандола
- 1466 Появление кафедры греческого языка в Парижском университете
- 1466-1536 Эразм Роттердамский
- 1469-1527 Макиавелли
- 1479 Бракосочетание Изабеллы Кастильской с Фердинандом Арагонским
- 1469-1527 Распространение книгопечатания в Парижском университете
- 1475 Конец Столетней войны
- 1488 Бартоломео Диас огибает мыс Доброй Надежды 1492 Христофор Колумб открывает Америку. Взятие Гранады. 1497 *Тайная вечеря* Леонардо да Винчи. Отплытие Васко да Гама

Для оформления были использованы книги из собрания отдела редкой книги Научной библиотеки им. М. Горького

- Alberticus de Rosate. Repertorium super lecturis. Lyon, 1535. — С. 68.
- Brant, Sebastian. Das Narrenschiff. Basel, 1497. — С. 125.
- Cepolla, Bartholomaeus. Cautelae. Tractatus perutiles. Lyon, 1525. — С. 86-87.
- Clark J.W. The Care of books. Cambridge, 1901. — С. 18,59,76,114,140, 146, 148-149.
- Iustinianus Imperator. Institutiones cum glossa Accursii. Ms. membr., scriptura bononiensis, 1259. — С. 71.
- Meurs, Johannes van. Illustrium Hollandiae et Westfrisiae ordinum alma academia Leidensis. Leiden, 1614. — С. 139.
- Munster, Sebastian. Cosmographia universalis. Basel, 1552. — С. 6-7,72, 133.
- Origenes. Opera (Latine). Paris, 1512. — С. 1. Petrarca, Francesio. Trostspiegel in Gluck und Ungluck. Frankfurt am Main, 1596. — С. 53.
- Schedel, Hartmanus. Liber chronicarum (Germanice). Грав.: Michael Wohlgemuth, Wilhelm Pleydenwurff. Nurnberg, 1493. — С. 80-81.
- Vergilius Maro, Publius. Opera. Ed.: Sebastian Brant. Strassburg, 1502. — С. 12, 15.

Содержание

ХII век.
Рождение интеллектуалов
7

ХIII век.
Зрелость и ее проблемы
57

От университетского
преподавателя
к гуманисту
111

Хронологические
ориентиры

Гофф, Жак Ле

Г74 Интеллектуалы в Средние века / Перевод с французского А. М. Руткевича. 2-е изд. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. — 160 с. ISBN 5-288-03334-X

С очерка истории интеллектуалов, людей, посвятивших себя умственной деятельности, - ученых (монахов и клириков) и мирян (богословов и философов), Ле Гофф начинает свою экспансию в мир духовности и психологии человека Средних веков. Как и в последующих своих работах - «Другое Средневековье», «Людовик IX Святой», нашедшей в 1960-е годы «Цивилизации средневекового Запада» и др., он остается верен культурно-антропологическому подходу «Новой исторической науки», у истоков которой стояли Марк Блок и Люсьен Февр.

Книга адресована историкам, философам, культурологам, филологам, а также самому широкому читателю, интересующемуся прошлым европейской культуры.

Жак Ле Гофф Интеллектуалы
в Средние века

Перевод с французского

Обложка художника *Е. А. Соловьевой*
Оригинал-макет *Т. Семеновой*

Лицензия ИД № 05679 от 24.08.2001

Подписано в печать 12.11.2003. Ф-т 84х108/32. Печать офсетная.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 8,4. Зика j 1.18

Издательство С.-Петербургского университета.
199034, С.-Петербург, Университетская наб., 7/9.

Типография Издательства СПбГУ. 199061, С.-Петербург, Средний пр., 41

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ Дом САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

*Издательство
Санкт-Петербургского государственного университета в 2003
году выпустило в свет*

Обрядовая теория мифа: Сб. науч. трудов / Составитель,
переводчик, автор предисловия и примечаний
А. Ю. Рахманин

Сборник представляет собой первый в отечественной традиции перевод наиболее известных работ Д. Фонтенроуза, К. Клакхона, В. Бэскома и С. Хьюмана, посвященных критическому анализу обрядовой теории мифа - одной из самых популярных и неоднозначных концепций в истории гуманитарных наук XX в., влияние которой сказалось на развитии антропологии, фольклористики, истории религии, литературоведения, культурологии, истории философии и даже математики. На сегодня дискуссии вокруг основных идей создателей и сторонников обрядовой теории (Фрэзера, Робертсон-Смита, Харрисон, Корнфорда и др.) малоизвестны русскоязычному читателю, однако данный сборник существенно восполняет эту лауну.

Книга содержит богатый фактический материал и будет интересна не только специалистам в области религиоведения, этнографии и культурологии, студентам, изучающим историю религий, но и всем интересующимся историей религиозных представлений.

Заявки направляйте по адресу:

*199034, Санкт-Петербург, Университетская Над., 7/9
Издательство СПбГУ, отдел «Книга—почтой»
Тел. (812) 328-77-63; факс (812) 328-44-22
E-mail: books@dk2478.spb.edu
www.unipress.ru*

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ Дом САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

*Издательство
Санкт-Петербургского государственного университета
подготовило к выпуску в свет*

М. Элладе. Йога: бессмертие и свобода /
Перевод с английского С. В. Пахомова. 2-е изд.

Книга выдающегося румынского историка и феноменолога религии Мирчи Элиаде (1907-1986) «Йога: бессмертие и свобода» давно считается классическим исследованием горизонтов индийского духа. Автор создает представление о йоге как о целостном, универсальном духовном мире, разные элементы которого соответствуют разным культурным уровням, состояниям сознания и даже слоям традиционного общества. Именно в среде автохтонного, доарийского населения Индии М. Элиаде прослеживает истоки йоги, акцентируя свое внимание в основном на ее «неклассических» образцах. Йога из конкретной ортодоксальной школы индуистской философии становится у него инициатическим пространством, в котором ищущий, проходя через испытания, приобретает к ценностям бессмертия и свободы и обретает статус дживанмукты — «освобожденного при жизни». Для всех, интересующихся духовной культурой Индии

Заявки направляйте по адресу:

*199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
Издательство СПбГУ, отдел «Книга—почтой»
Тел. (812) 328-77-63; факс (812) 328-44-22
E-mail: books@dk2478.spb.edu
www.unipres.ru*

Сканирование и форматирование: Pierre Martinkus
martin2@hotmail.ru

[Янко Слава](#) (Библиотека [Fort/Da](#)) || slavaaa@yandex.ru ||
yanko_slava@yahoo.com || <http://yanko.lib.ru> || Icq#
75088656 || Библиотека: <http://yanko.lib.ru/gum.html> ||
update 07.10.05
